



Sept. 1892

Unrevised about 1892

1892

Oct 1892

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

Blackwell

ДН

1988

*День поэзии
Ленинград*



Советский писатель
Ленинградское отделение
1988

ББК. 84. Р7.
Д34.

Составители:

ТАТЬЯНА ГАЛУШКО, ВИКТОР МАКСИМОВ

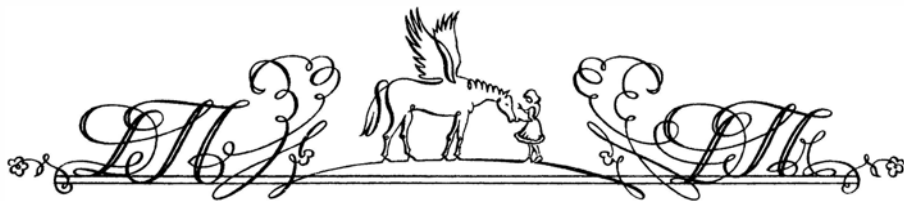
РЕДАКТОР НЕЛЛИ МИЛОСЕРДОВА

Художник Ася Векслер

Д $\frac{4702010206-314}{083(02)-88}$ 183—88

ISBN 5—265—00480—7

© Издательство «Советский писатель», 1988 г.



Страницы из школьных тетрадок

ПОЛИНА БАРСКОВА

О С Е Н Ь

Я не хочу ни плакать, ни смеяться,
А лишь смотрю на черные деревья
И думаю о том, что и природа
Бывает часто очень одинока.
Природа зябнет — кто ее согреет?
Природа плачет — кто ее утешит?
Природа даже слишком одинока,
И мне природу откровенно жаль.

НАСТЯ БЕЛЪТЮГОВА

КО Р О В А

Жила-была корова,	Не делая плохого
Веселая, как я.	Ни мне и никому.
Ходила та корова	Ходила та корова,
В зеленые поля.	Веселая всегда,
И ела та корова	Не делая плохого
Зеленую траву,	Нигде и никогда.

АНЯ ЕСЬКОВА

ЧТО ТАКОЕ СОЛНЦЕ?

«Солнце — монетка», — скупой проворчал.
«Нет, сковородка!» — обжора вскричал.
«Нет, каравай», — хлебопек произнес.
«Компас!» — сказал убежденно матрос.
«Солнце — звезда!» — астроном объяснил.
«Доброе сердце!» — мечтатель решил.

САША МЯКИНЕНКОВ

МОЯ ПЛАНЕТА

На моей планете лето, осень, зима
и весна,
Но лета больше на моей планете.
На моей планете много цветов,
Потому что я люблю цветы.
На моей планете во дворе моего дома
Много всяких скамеек,
И с каждой что-нибудь связано:
На одной — зеленой — я играю с корабликом,
Совсем еще маленький и глупый.
На желтой мы с мамой разглядываем осенние листья,
Рядом-коляска с моей сестренкой.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

*Н*ынешний поэтический ежегодник открывается стихами ребят из литературного кружка при газете «Ленинские искры» — «жаворонков», как мы, члены редколлегии, с улыбкой окрестили их между собой.

В пору больших, разнообразных перемен, происходящих в стране, трудно, пожалуй, чем-либо удивить искушенного читателя... Цели

такой редколлегии перед собой и не ставила. Просто — обсуждая основной принцип построения альманаха, принцип переключки ленинградских поэтических поколений, мы поняли вдруг, что без «певчего» зачина не обойтись.

«Все жаворонки нынче — вороны!»... Не вспомнили ли «вороны», что и они когда-то были «жаворонками»?..

На голубой скамейке я читаю сестренке сказку —
Сестренка улыбается, наверное хочет быть принцессой.
Я знаю всех жителей моей планеты.
Некоторые только смотрят в окно
Или только рыбачат,—
Такими я их увидел на Земле,
Такими они и живут на моей планете.
На моей планете старый пушистый коврик мурлычет, как кот,
А тени превращаются в бабочек.
У каждого своя планета.
Все мы Маленькие Принцы.



ОЛЯ САВУКОВА

С О Н

Сегодня мне приснился сон,
Что бродит по поляне слон,
А я, как бабочка, порхаю —
И воображаю, воображаю...

ВЕРОНИКА СИМОНОВА

СТИХИ О БЕЗДОМНОЙ КОШКЕ

Кошка грустно подошла к сараю,
Посмотрела грустно на замок...
Я все время это вспоминаю:
Почему я взять ее не смог?

Говорим о сложном и великом,
Хвалимся учебой и трудом,
А не можем перед кошкой дикой
Двери распахнуть в свой теплый дом.

ВИКА ТИМОШКИНА

В ЛЕСУ

**В лесу тишина и ни крика вокруг,
И только кукушка поет и поет,
И звонкие капли роняются вдруг,
И зверик бежит и травинку жует.**





ВАДИМ БАРАШКОВ
АЛЕКСЕЙ БЕКЛОВ
ВЕРА БУРДИНА
ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ
СЕРГЕЙ ВОЛЬФ
ВЛАДИМИР ГУД
АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ
ЕВГЕНИЙ КЛЯЧКИН
ЮРИЙ КУКИН
ЕВГЕНИЙ КУЧИНСКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН
ЛЕОНИД НЕСТЕРОВ
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА
ОЛЕГ ОСИПОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
АДРИАН ПРОТОПОПОВ
ВИКТОРИЯ РАБОТНОВА
МИХАИЛ РОМАНУШКО
ЕВГЕНИЙ ШВЕДОВ

ЕЛЕНА ЭФРОС



В Алексеев
Чайки над морем. Офорт.

ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ

В Ы Р А

Как нынче ветрено и сыро,
И впрямь осенняя пора...
Ну, слава богу, вот и Выра,
Огни знакомого двора!

Входите с вашей подорожной,
К огню садитесь — так теплей.
Хотите чаю? Пуншу можно,
Смотритель сменит лошадей.

Вот вам на лавках, сударь, место —
Ночь скоротайте, с вами бог!
Привычно вас смотритель крестит,—
С утра вам, сударь, путь далек.

В углу за пестрой занавеской
Мелькает девичий наряд,

И взглядом робким, полудетским
На вас украдкой глядят.

Лампадный свет в углу теплится,
В печи давно огонь погас,
А рядом, в маленькой светлице,
Гадает девица на вас.

На картах выпала дорога
И к даме пик любовь навек...
Еще не скоро вам, ей-богу,
Упасть лицом в январский снег!..

И вот по вашей подорожной
Скрип гусяного пера.
Что ж, все готово, ехать можно,
Кибитка подана, пора!

АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ

БАЛЛАДА О БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕМ

Меня нашли в четверг на минном поле.
В глазах разбилось небо, как стекло,
и все, чему меня учили в школе,
в соседнюю воронку утекло.
Друзья мои по роте и по взводу
ушли назад, оставив рубежи,
и похоронная команда на подводу
меня забыла в среду положить.
И я лежал и пушек не пугался,
напуганный до смерти всей войной.
И подошел ко мне какой-то Гансик
и наклонился тихо надо мной.
И обомлел недавний гитлерюгенд,
узнав в моем лице свое лицо,
и удивленно плакал он, напуган
моей или своей судьбы концом.

О жизни не имея и понятия,
о смерти рассуждая, как старик,
он бормотал молитвы ли, проклятья,
но я не понимал его язык.
И чтоб не видеть глаз моих незрячих,
в земле немецкой, мой недавний враг,
он закопал меня, немецкий мальчик,—
от смерти думал откупиться так.
А через день, когда вернулись наши,
убитый Ганс в обочине лежал.
Мой друг сказал: «Как он похож на Сашу!
Теперь уж не найдешь его, а жаль...»
И я лежу уже десятилетия
в земле чужой, я к этому привык,
и слышу: надо мной играют дети,
но я не понимаю их язык.

МАМЕ

Как все помнится — так и было,
хотя лучше б то было во сне:
ты не поровну хлеб делила,
отдавая большее мне.

И выхватывает копилка
или памяти тонкий луч
с кожей смерзшиеся ботинки
и алмазный иней в углу.

В свете пляшущем тени пляшут:
мальчик, женщина... (В горле ком.
Осторожно, никто не плачет.)
Мальчик мучается с чулок.

Ну конечно — ни к черту память!
Вон же валенки, возле ног.
Но до ужаса не отлипает
на смерть вросший в ступню чулок.

«Ты согреешься — он оттает.

Ну не бойся так, не дрожи.
Вон, конфетка тебе осталась».

— «А твоя где?» — «А я уже».

Ту конфетку, батончик, мама,
Я теперь бы... Ах нет, не то.
И лежит поверх одеяла
Ватой стеганное пальто.

Все подробности, все детали —
четко так, что сойти с ума.
Как под вспышкой моментальной:
лица белы — в глазницах — тьма...
...Пискаревских костей ступени...
У которой — перед тобой
опуститься мне на колени?
«У любой, сынок... У любой».

ЮРИЙ АНДРЕЕВ

Барды и их поэзия

Профессиональным библиографам, регистрирующим на своих твердых прямоугольных карточках названия стихотворных сборников, имена тех поэтов, стихотворения которых следуют ниже, неизвестны. Любителям поэзии, тем, кто любит покупать и читать книги стихов, фамилии Е. Клячкина, В. Вихорева, Б. Полоскина, Ю. Кукина, А. Дольского, В. Глазанова тоже ничего не скажут.

А между тем их творчество широчайшим образом известно — не тысячам и даже не десяткам, а сотням тысяч людей, его хорошо знают повсеместно буквально по всему Советскому Союзу. Правда, как правило, не знают, что это именно их творчество, что это — песня Полоскина, а это — Вихорева, а это — Клячкина. Да, песни на их тексты и их же мелодии звучат повсюду — и в тайге, и в

горах, и в космосе, как о том не раз уже рассказывали во всеуслышание космонавты. И, боже мой, сколько раз приходилось встречать в печати цитаты из их стихов, которые превратились чуть ли не в устойчивые словосочетания!.. «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги», — спел когда-то, больше двадцати лет тому назад Юрий Кукин, и вот уже 10 — нет, 20 — нет, 100 раз! — вынесены в заголовки газетных статей полемические утверждения: «В тайгу — не за туманом!», «А мы едем не за запахом тайги!», — и уже выросло новое поколение, которое чистосердечно полагает, что эта и многие ей подобные песни других авторов существуют чуть ли не с самого начала новой эры и создали их безымянные творцы. Собственно говоря, в этом невольном уподоблении

КЛОУН

Я лицо мукою мелкой побелю,
Я его покрашу яркой краской свежей,
Я себя совсем, совсем перемену,—
Здравствуйте, я снова на манеже!

Я поставлю чувства на голову с ног,
От печалей — смех, а радость — от мучений.
Буду я смешней и неожиданнее снов,
Буду интересней приключений.

Шарик, что казался сверху голубой,
Поднесу, а он — зеленый, желтый, красный.

И сомненья, радость, горе и любовь
Сделаю, как я, простым и ясным.

Если же внезапно истинную грусть
Как-нибудь случайным жестом обнаружу,
Я подпрыгну вверх, и я перевернусь,
И тогда опять вам буду нужен.

А когда домой вернетесь поздно вы,
Спор обычный, как всегда, сменив

на нежность,
Кто-нибудь заметит: «А ведь клоуны правы...»
Здравствуйте, я снова на манеже!



ЮРИЙ АНДРЕЕВ • *Барды и их поэзия*

нынешнего песенного многоцветья, анонимного для большинства потребителей и вариативного — в зависимости от вкуса и таланта многочисленных исполнителей,— в этом восприятии его как аналога народному творчеству имеется большой резон, и разница лишь в том, что по отношению к классическому фольклору жестокое и справедливое время уже произнесло свой приговор, здесь же, в современном музыкальном народно-поэтическом творчестве этот процесс отбора, возвышения и выбраковки лишь начался. Однако уже само участие песен, созданных непрофессионалами, в этом грандиозном конкурсе общенародного восприятия — акт многозначительный и многозначный. Он свидетельствует, что в силу особенностей таланта их авторы близки к тому сродству, гармоническому соотношению слова и музыки, которые

отличали и безвестных авторов тех фольклористических созданий, чьи песни пережили века и вошли в самый фундамент нашего национального самосознания.

Естественно, поэтическое слово в песне выполняет несколько иные функции, чем в «чистом» стихотворении. Но сам факт того, что сплошь да рядом композитору ложатся на душу те стихотворения, автор которых и не помышлял об их песенном иносуществовании, свидетельствует о том, что непроходимой преграды здесь нет, есть лишь особая, весьма деликатная форма взаимоотношений между словом и звуком. Это своеобразие в данном случае определяется простейшим образом: ведь площадка для «кардинальных усилий» находится не вне представителей разных видов искусств, а в единой творческой душе одного-единственного человека, которого судьба

К Р О Д И Н Е

За прошлое — прости меня, прости!
Когда от голода походкой шаткой
Ребенком я бродяжил по Руси,
Протягивая старенькую шапку,

И отдавал поклоны деревьям,
Гнусавя тоненько: «Подайте, ради бога...»
И кто — кусок, а кто мне — и ремня
От сердца от всего давал в дорогу.

Мне говорили: «Побираться — стыд!»
Но я плевал на этих прохожих.
Был серый день, но если я был сыт,
То этот день был для меня погожий.

Но, Родина, не будем о судьбе:
Война... разруха... Мне ли обижаться!
Тогда я вряд ли думал о тебе,
Когда в себе не мог я разобраться.

Да, было время, я был глуп и мал,
А к детству мы всегда не очень строги.
Зато теперь я знаю: обивал
Не зря твои суровые пороги!

ЮРИЙ АНДРЕЕВ · Барды и их поэзия

наделила многогранным талантом и который поэту с особой тонкостью ощущает комплексный, многоаспектный характер создаваемого произведения.

Подобно тому, как это происходит в текстах Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Городницкого, Ю. Кима и многих других наших известных или не очень известных бардов, это — поэзия, которую поют, то есть, это прежде всего содержательный поэтический текст, который располагает некими внутренними дополнительными возможностями для усиления своего воздействия. Скажем, опере-

ние для стрелы есть компонент хотя и важнейший для исполнения ею своей функции, но все же внешний, наружный, «секрет» же проникающего в душу воздействия текстов, слагаемых бардами, сокрыт глубоко внутри их содержания, потребовавшего определенной формы. Перед нами — стихотворные тексты, сложенные известными ленинградскими поющими поэтами. Очень разные тексты. Очень разных поэтов. Всмотримся же в стихотворения: а вдруг тайный и волшебный фермент, способный преобразовать стих в песню, откроется нашему взору?..

В О Л Ъ Д А Х

*Памяти капитана дальнего
плавания В. Кисловского*

Всё в панцире белом от мачты до рубки,
Корабль как в доспехи одет,
И только одна капитанская трубка
Имеет естественный цвет.

Мы встали в ледовых объятиях прочно,
Глаза завязал нам туман,
Пытаемся целых три дня и три ночи
Сколотить с корабля океан.

Теперь не помогут ни якорь, ни шлюпка,
Ни дальний огонь корабля,
Лишь только одна капитанская шутка
Заставит поверить в себя.

АЛЕКСЕЙ БЕКЛОВ

З Е М Л Я

Каменистых усилий нам каждая стоит победа.
Развернули Иртыш и погнали к иным берегам,
и водой ключевой напоили тюменские недра,
чтобы били фонтаны и плыли дымы к облакам.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сказано: «В начале было Слово!» Если это и так, то к слову стихотворному сказанное не относится. В отношении стихотворного слова — достовернее: «В начале была музыка...» Общеизвестно, что «на заре туманной юности» человечества стихи исполнялись, как правило, в музыкальном сопровождении. Немало потребовалось времени, чтобы стихосложение, отпочковавшись от музыки, стало самостоятельным искусством, и надо ли напоминать — каких вершин сумело достичь на пути своего развития.

Искусство бардов — древнейшее искусство. Своя история, свои взлеты, свои вершины.

Нередко и сегодня спорят: что в песне барда «главнее» — стихи или музыка (мелодия)? Спорить можно долго. Думается, одна-

ко, одно бесспорно: стихи должны соответствовать требованиям поэтики. Наши талантливейшие барды великолепно это подтверждают. Они равны себе — на пластинке и в книге. Но талантливейших — единицы, а под гитару поют с ебя — тысячи...

Подготавливая данную публикацию, редколлегия хотела лишний раз напомнить именно об ответственности перед с л о в о м, о значимости слова в песне. И не только у бардов: с тех же эстрад, из тех же теле- и радиостудий звучит великое множество песен профессиональных композиторов и всевозможных ВИА, где о какой-либо поэзии просто не приходится говорить — в пору через самые мощные динамики кричать о катастрофической деградации поэтического слова...

Расколдованный атом прожорливо просит подачки,
упоенный могуществом спутник высоко летит,
как нарывы, глубинные мучают взрывы... От спячки
просыпаясь, Земля с удивленьем за нами следит.

Так медведица в стужу, прижав медвежат, полусонно
лай собак различает, спокойную силу храня,
и, уже свирепея, еще отступает: полно,
дескать, лучше бы вам не гневить,
не тревожить меня.

К Е М Б Ы Л Я ?

Мне чудится размах широких крыл.
Кем был я, если кем-то все же был,
и сам еще того не создавая?

Как бесконечен медленный полет!
И клетот одинокий горло рвет,
товарищей далеких созывая.

Как мелок мир, и как мой зорек взгляд!
Распахнутые хижины горят,
минута, посмотри, уже и тлеют.

Из года в год все та же маета —
разбойничают, нет на них креста,
а между делом пашут или сеют.

И головы им в небо не поднять,
бескрылые — никак им не понять,
что миру нет ни края, ни предела,

что, может быть, я кем-то раньше был,
и где-то среди брошенных могил,
покинув душу, плоть моя истлела.

ВЕРА БУРДИНА

* * *

Лесничий Захаров охотится на волков,
приманивая их на вой своей прирученной
цепной волчицы. Ему всегда сопутствует
удача.

Из газет

В небеса, в полночную стынь,
Горячо, протяжно и скорбно,
Выдыхая из пасти синь,
Напрягает волчица горло.

Ах, февральская снежная звень!
Ах, протяжный зовущий ветер!
Где-то замер матерый зверь
И на зов волчицы ответил.

Вот тогда в сосняке наконец
Лязгнет сталь, послышится шорох.
Черный ствол и синий свинец,
Черный ствол, сиреневый порох.

Зверь бежит по сугробам вмах,
Снег хватая горячей пастью.
Подменен его древний страх
Еще более древней страстью.

Обмерла после выстрела степь,
Лишь луна серебром сочится.
До отказа вытянув цепь,
Лижет кровь на снегу волчица.

Ослепи меня ночь, ослепи!
Дай забыть эту жуткую повесть,
Где над кровью волчьей любви
Торжествует людская подлость.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Устройство у часов простое,
Их суть понятна и близка:
Две капли вечного простора —
Щепотка тонкого песка.

К стеклу часов прижмусь щекою,
К стеклу тончайшего литья,—
И буду слушать, как щекотно
Струится шелест бытия.

Они не требуют починки —
Считая жизни нашей дни.

Но, чтоб не замерли песчинки,—
Ты вновь часы переверни.

И вновь, без дыма и нагара,
В стекле тончайшего литья
Зажжется ниточка накала,
Песчинок тонкая струя.

Так, постепенно, слой за слоем,
Засыплет донышко песком.
Все обращается в былое
Под тихий шелест за стеклом.

СЕРГЕЙ ВОЛЬФ

* * *

Памяти Володи Тучкевича

Вот тупая река
С допотопным названием Оять,
Непонятным пока,
Значит, следует здесь постоять
У обрыва, где нудно
Два столетия гниют два бревна
И болтается утка
На струе,
На всю реку одна.
Под прогнившим мостом
Завалился измотанный лось,
Он продрог под дождем,
Он промок абсолютно насквозь,
Хнычет он и дрожит,
Опасаясь клыков кабана,
И волчица лежит,
Как и он — на всю чашу одна.
На кабаньей тропе
Отощавшая бабочка спит,
По истлевшей траве
Слышно, как она нервно храпит,

И пугливый кабан —
Пустотелых лесов господин —
Огибает капкан,
Как и он — на округу один.
И медянке невмочь
Дохромать до набухшей воды,
Надвигается ночь,
И туман опадает с гряды,
И плетется кулик,
Под туманом головкой вертя,
И слабеющий крик
Затухает,
На нет исходя.

* * *

Кто там ходит так тихо в траве
С диадемою на голове?
Два зелененьких глаза дрожат,
И мучительно хвостик прижат.
Кто замшелой и хлипкой тропой
Направляется на водопой,
Оступаясь и падая в грязь,
Пряча боль и смущенно смеясь?
Кто, шарахнувшись от воробья,
Остеклевший, застыл у ручья?
И кристаллик воды для глотка
Неподвижная ищет рука.

Кто пушинкой, на ощупь, во тьму
На волне, неподвластной уму,
За пределы черемух и лип
Улетает, похожий на всхлип?
Увядает, как сон наяву,
Опадает в глухую траву,
Не перечит, не плачет, не ждет,—
Ах, когда избавленье придет?
Не жалеет, не ищет в ночи
Чужеродного света лучи
И не сетует... Вспышка во мгле
Равнозначна ему на Земле.

ВЛАДИМИР ГУД

КОРРЕКТИРОВЩИК ОГНЯ

По склонам гор клубятся облака,
И дождик шелестит в прозрачной роще.
Уже темно. В столовой артолка
Холодный ужин ест коррективщик.

Бушлат пропитан пылью — не пылью.
И я гляжу немного удивленно
На юное безусое лицо,
На взрослые майорские погоны.

Мигает свет, тускнея и слепя...
Он говорит о прошлом без волненья:
Два ордена — за вызов «на себя»
И красная нашивка — за раненье.

Он говорит, что дважды был в огне,
Что завтра надо быть на дальней точке.
А думает о том, что много дней
Вдали от дома, от жены и дочки.

Вдвоем идем во мгле, сквозь дождь, и он
Прощается со мной у общежитья,
Диктует ленинградский телефон
И просит: «Непременно позвоните...

Хоть из Ташкента. Очень ждет жена.
Подробно, сами знаете, не надо.
Земля у нас — одна, и связь — одна.
Любим приветам дома будут рады».

...Иду на свет далекого окна.
Я этот телефон не потеряю.

Я вновь шепчу: «Земля у нас одна...»
«И связь — одна!..» — упрямо повторяю.

А ночь вокруг как мина,— только тронь!
И все во мне подчинено порыву,
Как будто вызвал на себя огонь
И жду мгновенья первого разрыва.

И ждут враги — их участь не сладка.
И ждут друзья — когда мой пост ответит..
И ждут междугородного звонка
Жена и дочь на Лиговском проспекте.

* * *

Мост, связавший два материка...
Мы проходим в Мраморное море.
Вспомнилась знакомая строка:
«Никогда я не был на Босфоре...»

Но корнями жизни, а не зла
Прорастают в глубь одной планеты
Клен зазеленелый у села,
Кипарис у домика Хикмета.



К Претро.
Ленинград. Офорт.

* * *

Крюков канал. Колокольня Николы.
Трепет воды от мелодий церковных.
Эта гравюра знакома со школы —
куплена мамой на старый целковый.

Только не дай-то мне бог, чтобы снова
прожектора ее освещали,
как в те бомбежки

сорок второго.

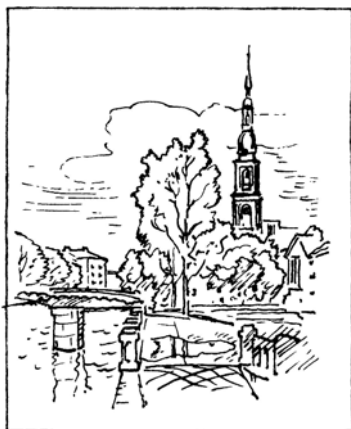
В рамке осколок.
Не вынуть клещами.

НА РЫНКЕ В КОСТРОМЕ

Этот рынок — рынкам рынок.
Я ушел с него в дурмане.
Мною там была открыта
красота торговли Мани.
Огурцы ныряли в бочке
в отрезвляющем рассоле,
а она стоит в платочке
с опьяняющей косою,
что от плеч ее до пяток
влево-вправо — плетью хлесткой.
Стороной идут ребята,

а в глазах завидок блески,—
кто такую заполучит?..
«Нам пора бы к дому, Маня,—
ей сказал шофер-попутчик,—
чтоб не гневалась маманя
на меня. Уж близок вечер.
Вдруг подумает, посеял...»

Отвечала:
«Делать неча...»
И пошла к себе в Рассею.



Б. Комаров
Крюков канал.

* * *

Среди родного ширпотреба
Располагается с трудом
Эмалированное небо
Над полированным прудом.

Все больше пауз в птичьей игре,
Гнильем пропитаны сады.
А под ногами, под ногами
Столетней давности следы.

Гуляет клен, соря деньгами,
Кутит по мелочи ольха.
А под ногами, под ногами
Осенних мыслей вороха.

И вроде сетовать нелепо,
Но душу сковывает льдом
Метафизическое небо
Над эгегическим прудом.

Как бесконечно было это
Цветенье трав, свечение глаз.
И вот ушло, уплыло лето
В который раз, как в первый раз.

Туман мертвеет над лугами,
Не гарантируя рассвет.
А под ногами, под ногами
Земля, которой сносу нет.

* * *

Висит медвежья шкура на стене.
На голубой — коричневая шкура.
Хозяйки импозантная фигура
На этом фоне смотрится вполне.

Я видел те же шкуры на полу,
На них играли маленькие дети,
Но как-то не служили шкуры эти
Укором человеческому злу.

Расставив лапы в стороны, летит,
Летит медведь, уходит в поднебесье,
Уходит от родного редколесья,
Где лиственницу осень золотит.

Охотники цепочкой подошли.
Ударил карабин на левом фланге,
И в голубое взмыл лохматый ангел,
Российской воплощение земли.

Хозяйка нас настойкой угостит,
Лукаво поиграет карим глазом.
Вздремнет душа, осоловеет разум,
А за спиной летит медведь, летит.

...Сбежал домой, а ночью снилась мне
Берлога, укрепленная на славу,
И шкура человека на стене,
Летящего на смерть, как на забаву.

* * *

Наши дети печальны, беспечны, нетвердоголовые,
Подавай им послаще, почаще, помягче стели,
Густокровы они, острословы они, кайфоловы,
Наши прописи им заменяют вполне костыли.

Наши дети хотят, чтобы их понимали, внимали
Бородатой бредятине истин, неведомых нам,
Чтобы нам, отражаясь в глазной их глазури, эмали,
Быть лишь символом долга, добавкою к их именам.

И красивы они, и талантливы. Видно, в ударе
Были мы, их родители, в ту сокровенную ночь,—
Мы, родители их, некрасивые мелкие твари,
Изваявшие чудного сына, прелестную дочь.

Мы в них всадем все то, в чем, увы, преуспеть не успели.
Будет музыка, слава, атлетика, много еды,
Будут музы, надежды, юпитеры, кисти, скапели,
Репетиторы, метры, враги, ощущение среды.

Пусть на темени редковолосом дыханье итога,
Пусть чиновная сволочь нас хлещет по вялым щекам,
Там, где мы растеряли себя, и удачу, и бога,
Там они, наши дети, заплатят по нашим счетам.

Вечереющим оком долбя запредельные дали,
Но еще не избыв до конца окаянных страстей,
Скажем сами себе, что уж тем свою жизнь оправдали,
Что себя потрошили и грабили ради детей.

Но, все чаще блуждая по черным, как вечность, излукам,
Озираясь, робея, наивно плетя виражи,
Вдруг увидим, почувствуем, как они мстят нашим внукам
За бездарную душу свою, порождение лжи.

ЛЕОНИД НЕСТЕРОВ

* * *

На отработке — ближний бой.
Пройти, чтоб руки — на затылке,
и с ходу выстрелить собой,
как будто пробкой из бутылки.
Не школьный ринг, не верный гроб,
не просто крови по колено,—
всего лишь низенький окоп
и три усталых манекена
с таким брезентовым челом,
что им запомнилось едва ли,
как мы рукою-топором
сто раз подряд их убивали.
А я запомню до конца
себя в заломленном берете
и три рисованных лица —
как трех врагов на всей планете.
Как будто дело в них одних,
что ничего им не прощалось,
и расстояние до них
все сокращалось, сокращалось.

* * *

На поле было столько трав,
что захотелось кувыркаться,
и пить вино, и целоваться,
законы армии поправ.

В ранг садоводов и зверей,
в круги деревьев и поэтов,
в собрание доброе предметов
живой коллекции ничьей.

На поле было столько трав...
Менялись имена на клички,
как будто пришивались лычки
для возвышенья в новый ранг.

Там и пропала наша рота:
ее с опушки и небес
атаковал огромный кто-то —
с березками наперевес.

* * *

Вот небо, в которое ночью гляжу,
вот город, в котором по кругу хожу —
работа, забота, суббота,
и снова — работа, забота...
Но, как ни крути, не проходит и дня,
чтоб с этой цепи не спускали меня,
и я ради тонких тетрадок
привычный ломаю порядок:
беспечно в седое окно подышу
и все, что увижу, в тетрадь запишу —
к примеру, слепого грузина,
поющего у магазина...

Тетрадок моих удивителен мир —
как фокусника злополучный цилиндр:
предмет, что туда попадает,
навек для меня пропадает.
Как будут тетрадки доверху полны,
не станет ни звезд, ни домов, ни луны,
ни шахматной тонкой забавы,
ни дворничихи тети Клавы...
Закрою тетрадки — напрасен был труд:
обратно по жизни фигурки бегут,
как будто бы так им и надо,—
от морга до детского сада!

* * *

А жизнь ему: скажи, скажи —
какого ты обрещаешь света?
Какие идолы во лжи
пифагорейского завета?

А он кричит, кричит: уймись!
Я с теорем, как с колоколен,
смотрю на души сверху вниз,
и счастлив, и почти спокоен...

А жизнь долдонит про свое:
мол, наступает, наступает
пора, когда небытие
мышление определяет...

* * *

Как будто катят бочки — с трудом, но от души,
мои рисуют дочки, трещат карандаши!
Являются бумаге подарки Бытия:
дома, деревья, флаги, судьба и жизнь моя.

А я такой веселый, небритая губа,
с ушами — выше школы и носом как труба.
Но все же мне годится в оранжевом луче
сиреневая птица на бронзовом плече.

Возможно — это милость, возможно — в этом
суть,
рисуй меня громилой, посмешищем рисуй!
Рисуй меня горбатым, руками — в облаках,
рисуй меня богатым — с деньгами на боках!

Собака — голубая, морковная звезда.
А жизнь — она какая? Она — не навсегда.
И если я, букашка, не выдержу, помру, —
останется бумажка на солнечном ветру,
где буду я счастливый, зеленый, словно клен,
не нашей как бы силой навек запечатлен.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

* * *

Г. И.

Но была ли на самом деле
Эта встреча в Летнем саду
В понедельник, на Вербной Неделе,
В девятьсот двадцать первом году?

Я пришла не в четверть второго,
Как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: «Гумилева
Вы бы вряд ли заставили ждать».

Я смутилась. Он поднял высоко,
Чуть прищурившись, левую бровь.
И ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь.

Я сказала: «Я страшно жалею,
Но я раньше прийти не могла».

Мне почудилось вдруг — на аллею
Муза с цоколя плавно сошла

И, бела, холодна и прекрасна,
Величаво прошла мимо нас.
И все стало до странности ясно
В этот незабываемый час.

Мы о будущем не говорили.
Мы зашли в Казанский собор,
И потом в эстетическом стиле
Мы болтали забавный вздор.

А весна расцветала и пела,
И теряли значенье слова,
И так трогательно зеленела
Меж торцов на Невском трава.

1964

* * *

Ирине Сабуровой

Нежданно, хоть, пожалуй, зря,
В ночь на восьмое октября
Открылся мне и стал понятен
Тот хрупкий параллельный мир,
Где вздохи муз, и всплески лир,
И много звездных пятен,
Где все пути ведут к добру,
Где жизнь похожа на игру,
На зеркало в хрустальной раме,
Где нет ни дерева, ни пня,
Где тигры смотрят на меня
Почтительно, зелеными глазами.

1967

* * *

Над зеленой высокой осокой скамья,
Как в усадьбе, как в детстве с колоннами дом.
Возвращается ветер на круги своя,
В суету суеты, осторожно, с трудом...

Возвращается ветер кругами назад,
На пустыню библейских акрид и цикад,
На гору Арарат, где шумит виноград
Иудейски картаво. На Тигр и Евфрат.

Возвращается ветер, пространством звеня,
На крещенский парад, на родной Петроград,
Возвращается вихрем, кругами огня...

-- Ветер, ветер, куда ты уносишь меня?

1940-е



* * *

Сегодня — эскалатор
между вчера и завтра.
Движущийся
с неумолимостью времени.
«Не бегите
по эскалатору».

П Е Р В О Е Н О Я Б Р Я

Садик во дворе
на Литейном.
Листьев
у тополя осталось
на один выход
дворника.

* * *

Кривда улыбается.
Открылась
первая выставка
художника.
...Посмертно.

Т Р А Г Е Д И Я

Солдата
взяли в плен.
Солдат
нарушил приказ.
Последнюю пулю
послал врагу.

П Р О В О Д Ы

«Мама,
почему в церкви поют?»
— «Мы поминаем».
«Мама,
зачем у нас в руках свечки?»
— «Мы скорбим».
«Мама,
а почему ты и я в черном?»
— «Мы живые».

Д И К Т А Т О Р

Солнце взошло.
Куры не верят —
«Ку-ка-ре-ку» ждут.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

ИЗ ЦИКЛА «ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЗОДЧЕСТВО»

1. ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

(Четверть баллады)

Бог весть, из каких запредельных и сказочных стран,
презрев и леса, и поля, и неверное море,
летит к Петербургу лихим репортером Руслан,
вися, как балласт, на запущенном в ход Черноморе.

Опять скоморошничают на ветру острова,
и снова, как будто нечаянно, пролиты реки,
и так же под царственным шлемом стоит Голова,
и мнится, вот-вот приподнимет гранитные веки.

Б И Р Ж А

(Тома де Томон)

Ходят вокруг налегке петербургские долгие ветры,
осень без листьев стоит впусе на остром мысу.
Белая биржа лежит, как груженная временем баржа,
и на пустом берегу торга купцы не ведут.
Видно, веленьем богов, возлюбивших чудо торговли,
с юга на север доплыл сей благородный амбар.

ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ

Когда нисходит с неба полузной,
а травы чахлые ползут хворобой,
возносишься отвесной прямизной,
отесанной наотмашь белизной
и четырехугольною утробой.

Черствеет у воды сухой песок,
как пень молитвенный, чернеет бабка,
а полдень грузен и, как ты, высок,
и купола — три крепкие обабка —
стоят друг с дружкой наискосок.

Я З Ы К

Язык — это наше наследство
и общественная подпруга,
а также верное средство
не понимать друг друга.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

П Р У Д Ы

Я помню, как однажды, голышом,
Я лез в заросший пруд за камышом.
...Колючий жук толчками пробегал
И лапками поверхность прогибал.

Я жил на берегу. Я спал в копне.
Рождалось что-то новое во мне.
Как просто показать свои труды.
Как трудно рассказать свои пруды.

...Я узнаю тебя издавека
По кашлю, по шуршанию подошв,
И это началось не с пустяка —
Наверно, был мой пруд на твой похож.

Был вечер. Мы не встретились пока.
Стояла ты, смотрела на жука...
Колючий жук толчками пробегал
И лапками поверхность прогибал.

Мы шли по хрустящим тропам
По муравьиным трупам,
И лист то с ольхи, то с дуба
Вдруг падал к ногам, как рубль.

И вышли мы к сизым рельсам,
На них лист осины грелся.
Кончается бабье лето,
Качается бабье лето...
Пожалуйста, два билета.

Г А Р Д Е Р О Б Щ И К

Сидит гардеробщик, стоит гардеробщик —
а вот почему гардеробщик не ропщет?
Карьера ему назначалась иная —
он должен был ночью стоять, где пивная,
и громко свистеть, чтоб мурашки по коже,
и шубы срывать с одиноких прохожих.

Но все получилось спокойней и хуже:
раздав номерки, он сидит на диване
и долго не может понять: почему же
его так волнует процесс раздевания?

Но вот, отогнав эти мутные волны,
откинув со лба хулиганскую челку,
он ходит веселый, он ходит довольный,
и вешалка сбоку походит
на елку.

Н А Д А Ч Е

Приведя свою тетю в восторг,
Он приехал серьезным, усталым,
Он заснул головой на восток
И неправильно бредил уставом.

Утром встал — и к буфету, не глядя.
Удивились и тетя, и дядя:
Что быть может страшней для нахимовца —
Утром встать и на водку накинуться!

Вот бы видел его командир!
Он зигзагами в лес уходил.
Он искал недомолвок, потерь —
Он устал от кратчайших путей...

Он кружил, он стоял у реки,
А на клеши с обоих боков
Синеватые лезли жуки
И враги синеватых жуков.

АДРИАН ПРОТОПОПОВ

* * *

Я — валун, оледенением
я в стране моей запрятан
и рубцами от ранений
я не свят, а лишь запятнан.

Я окатан и обтесан,
мохом вымощен в морщинах,
я в тайгу сырую сослан
лишь за то, что был вершиной.

Лишь за то, что где-то в небе
об орлах мечтали скалы...
Валуны идут на щебень,
а еще — на пьедесталы!

* * *

Снова осень, сухая, в холодной пыли,
с золотою нахальною бровью.
Ты за тридевять где-то, моя Натали,
с теплой шалью, стихами, любовью.

В этих пролежнях осени слов — ни строки.
Галки прячутся в черные бурки,
жирно смазаны маслом стальные курки,
копоть лампы, простуда, окурки.

Не прочтешь у собаки в глазах — помоги!
Дверь ли стукнет — не выглянешь: кто там
Не шатаются пьяные вдрызг сапоги
по разгульным багульным болотам.

Сыромятные ночи бездомно пусты,
бродят помыслы, злые, как блохи,
и за окнами молча качает кусты
ветер нашей бессонной эпохи.



В Емельянов
Заброшенный баркас. Линогравюра, фрагмент.

ВИКТОРИЯ РАБОТНОВА

* * *

Здесь живет ожидание. Мой неудавшийся дом
Ждет в четыре стены и хозяйкой меня не считает.
Ожидание курит, меня наблюдает потом,
Пьет коричневый чай или делает вид, что читает.

Будто пишет роман, будто хочет закончить главу,
Поглядит от порога: довольно ли были и боли...
Я живу, но не здесь, или вовсе нигде не живу,
Здесь хозяйкой — свобода, когда уже нечего боле.

Значит, снова — назад? Значит, снова увидеть людей?
Значит, снова вернуться, и снова начнется такое?
И Лебяжья канавка черна, словно пух лебедей,
И мягка, словно пух, для пришедших сюда за покоем...

* * *

От новостроек, убранных в леса,
До хрупкого фонарного трехцветья
Идти всего каких-то полчаса,
Идти всего каких-то полстолетья.

Но не спеши. Остановись и стой,
Покуда не почувствуешь границы
Между провинциальной суетой
И сумрачным спокойствием столицы.

Иди туда, где так случаен свет,
Что хватит лишь на отблески, на блики,

И у домов уже не стены, нет,
Но временем источенные лики.

Там переулки — под прямым углом,
И так легко изогнуты каналы,
Что волен верить, будто их излом
Содержит и твои инициалы.

И перед тем, как уходить назад
Подумаешь: всего и остается,
Что принести в притихший Ленинград
Воды из петербургского колодца.



КИРИЛЛИЦА

Жизнь на лицах рисует буквицы.
Зашифровываясь хитро.

А сердца наши перестукиваются:
«Буки. Веди. Глаголь. Добро!»

Горячо в беспокойном мире —
Чью там кровушку пьют поля?
А сердца — они все о мире:
«Он Покой Наш. Зело, Земля...»

Да кому они? Вам ли? Мне ли?
Дети, воины, играцы —
Повзрослели мы? Поумнели?
«Како Есть? Слово Твердо Рцы!»

Беспокоятся. Горячатся.
Бьются, бьются о толщу стен —
Все пытаются достучаться:
«Иже Людие Мыслете...»

ПРИТЧА

И пляж был чист, и день высок,
И облак — белый конь.
И я пересыпал песок
С ладони на ладонь.

Песок был сух и бел. Текло
Шуршание, крошась.
Мне было, в общем-то, светло —
Жизнь, в общем, хороша!

Я все заботы пресекал,
Сомненья рвал росток.
Лежал, песок пересыпал,—
И весь ушел в песок.

Потом закат тревожно цвел,
Набухли облака,
И ветер, подойдя, размел
Фигуру из песка.



ЕВГЕНИЙ ШВЕДОВ

* * *

Занавесилась ситцами,
А на кресле распят
Экзотической птицею
Дефицитный халат.

Деревенское личико,
Голубые глаза —
Небольшое количество
Добродушного зла.

За какие провинности?
Кто опять не в чести?
Что там слышно, в провинции?
Расскажи, причасти.

Твой супруг улыбается,
Как душевнобольной,
Меня потчует байками
(Он сегодня хмельной).

Кузнецовского чайника
Хрип над чашкой пустой.
Упаси Бог, нечаянно
Сей нарушить устой!

На окошечке кактусы.
Чистота и уют...
Быстро счастье катится —
Отщипнуть не дают.

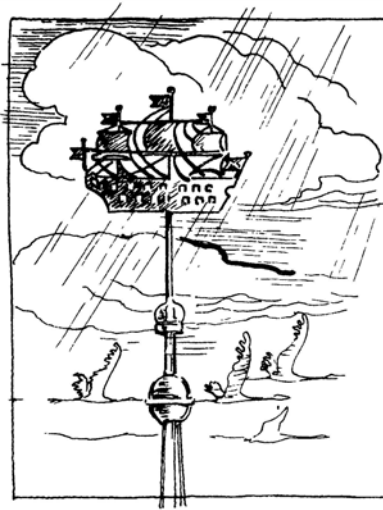
* * *

Ты помнишь северной России
Грибной и ягодный улус,
Где улыбнулось так красиво
Ржаное поле в русский ус?

А на окраине деревни
Гостеприимную избу,

И на иконе город древний,
И Богородицу в гробу?

Кресты чугунные погоста
Да банку ржавую с водой?
Подумать только, что так просто
Земля возьмет и нас с тобой.



ЕЛЕНА ЭФРОС

* * *

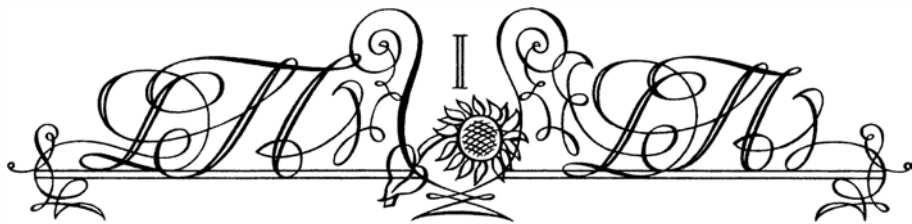
Наступает мое время.
Это значит: летят листья,
Закрывая от глаз землю,
Открывая глазам небо.
Это значит, что жить можно.
Возле дома — глазам больно —
Неожиданный клен вырос.
Как в учебнике для младших:
Просветлели в садах липы,
Поредели в лесах птицы,
Задремали в прудах рыбы.
Все мне кажутся дни эти
Отражением всех прошлых
Сентябрей, октябрей. То есть
Возвращением обратно.
Только время идет — мимо,
И деревья растут — мимо,
Даже листья летят — мимо,
Не на плечи мне и не в руки.

* * *

Оленье поле, вересковый путь,
С больших деревьев облетели птицы,
Тропа, с которой некуда свернуть,
И речка, из которой не напиться.

Все остается, только не забудь:
Беседка — в парке, девушка — в беседке,
Старинный клен качается чуть-чуть...
Оленье поле. Вересковый путь.





**СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ
СЕРГЕЙ ВОЛЬСКИЙ
НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА
ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН
ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ
ОЛЕГ ЛЕВИТАН
НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА**

**БОРИС ОРЛОВ
СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД
АНДРЕЙ РОМАНОВ
ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА
ГЕРМАН ЦВЕТКОВ
ЮРИЙ ШЕСТАКОВ
ВИКТОР ШИРАЛИ
МИХАИЛ ЯСНОВ**



В. Алексеев.
Сосны. Офорт.

СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ

* * *

Полынью пахнет ветер летний,
Сухими травами шумит.
Мне стало вдруг чуть-чуть рассветней,
Какой-то горький привкус смывает.

Степи целебной врачеванье,
Прозрачен воздуха настой.
Вновь обретенье, узнаванье
Души и нищей, и святой.

Холмов оплывшие узоры,
За степью — горная гряда...
Живу, летящая в просторы,
как жить должна была всегда.

* * *

Я понимаю: жизнь — движение,
Но это... видимость одна.
Мы все привязаны с рожденья.
В нас корни есть и семена.

И откреститься невозможно
От фраз, от роя мелких дел,

От сна, вращения в чашке ложкой...
И эта вечность — наш удел?

Мы, как зеленые деревья,
На волю рвемся на ветру.
Мятежность нашу и неверье
Целует солнце поутру.



СЕРГЕЙ ВОЛЬСКИЙ

* * *

Жан-Батист Мольер скончался в театре
сразу после спектакля «Мнимый больной»,
в котором сыграл главную роль.

Умирает на сцене комедиант...
К черту вздохи! Слезливую жалость умерьте!
Не кончается, не умирает талант —
Поглядите, какое презрение к смерти!

Маску псевдобольного надел лицедей
И глумится над тысячью страшных болезней,
Свято веря в одну из крамольных идей:
Смех извечно любых врачеваний полезен.

Над недугами общества тешится он —
И придворных мороз побирает по коже,
И хохочет народ, без вина опьянен,
И в смятенье святоши:
«О, праведный боже!»

А подмостки все шире, а зал — вся Земля...
И над сьютою, празддно-пустой суетою
Зреют грозы уже, лихолетье суля,—
И дрожат все сильнее вековые устои.

Ну а жизнь продолжается. Вечен талант.
Сквозь века он глядит прозорливо и зорко.
Умирает на сцене комедиант...
Триста лет умирает —
и смеется галерка.

* * *

Неутолима страсть к заветной цели:
Достичь, хоть на карачках доползти!
И вот они, счастливишки! —
Сумели
Отбросить все препятствия с пути.

И горделиво всходят на вершину,
Победою своей упоены...
Как часто не хватает арлекина,
Чтоб увидеть себя со стороны!

НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА

* * *

Видимо, все для того, чтобы ты меня за руку взял,—
Скажем, четверг или вторник, соседи среды;
Или бессводных небес предполуночный зал,
Перегороженный плеском эффектной воды.
Надо так думать, что я на задворках войны
И родилась, чтоб о розах с тобою болтать,
И у тебя на плече в средоточье весны
Столь безмятежно последнюю жизнь коротать.
Именно нам посылают морзянку свою
Неопалимая мгла и забрезживший свет,
Тот самый свет, у которого мы на краю
По географии суточной дел и сует.
И, очевидно, стрельба на планете с утра,
Чтобы идиллию нашу чуть усугубить,
Ибо на выдумки голь не особо хитра:
Только бы вместе — и только-то! — вместе побыть.
Место и время, конечно, не красят ничуть.
Видимо, в годы, залитые кровью на треть,
Я родилась, чтоб, тебе припадая на грудь,
В преображённую даль неохотно смотреть.

* * *

Жилище захлопнется старой шкатулкой,
Ремонт предстоит, полетит штукатурка,—
Снег на голову! И пылица сверх сил...
Спешил домовый и трусцы натрусил.
Задвигались лары, заныли пенаты,
Анчутка захлопал глазищем мохнатым,—

Ремонт предстоит! Он на нашем пути,
Его не объехать и не обойти.
Пора подметать, обновить не мешало б,
Пора поменять, что уже обветшало,
Пора бы сойти со скрипящей доски...
Пора бы, пожалуй, зажить по-людски!

* * *

Прошлое нас настигает — то изнутри, то извне.
Кто ты, всех мощных и сильных живей и железней,
Хрупкий заморыш с завязанным горлом в окне,
В полуволшебстве загадочных детских болезней?

Прошлое гончей по следу летит... что за гон!
Сколько ни силиться петлять и по быту мотаться,
То всех забвений травой наполняется сон,
То исполняется явь атавизмами старых нотаций.

Нынешний час между «будет» и «было» — что буфер и сцеп,
Дней — пруд пруди, но тот пруд выше омутов илист.
И восстаешь поутру, перевозданно нелеп,
Нужен незнамо кому и навыворот задирист.

Азбука мира! природы и жизни букварь!
Все по складам, по слогам, все учебники настезь.
В учениках пребываеши исстари, ныне и встарь,
С детства до старости то же окошечко застишь.

Вываться в завтра — задача почти по плечу!
Взрослостью сыты по горло и воздухом пьяны,
По первопутку в пейзажную выйти парчу
Или в июль в земляничные мчаться поляны.

Все, что задумано, сбудется там, впереди.
Мы приступили мечтать, находясь в колыбели.
Горы златые... молочные реки... Из детства — впади
в вечное царствие первоапрельской купели.

Жизнь — не шутница ли? в этом и сила ее.
Мчатся хронометры. Сутки летят по орбите.
Ты неотступен, как прошлое, счастье мое.
И недоступен, как завтра. И полон событий.



АНАТОЛИЙ ПИКАЧ

«Часы свои с возрастом сверьте...»

Есть ли поэтические поколения? Конечно есть, но не будем превращать эту бесспорную истину в шаблон. Есть еще живой поэтический ток в цепочке поколений. Та единая историческая ситуация, которая на всех сейчас одна.

Уже впадают и в другую крайность — деление на поколения считают искусственным. Здесь очень многое напутало явление, рожденное минувшей эпохой, — запоздалые дебюты, когда словно в насмешку молодыми величали

сорокалетних мужей с первой книжкой. Точнее и честнее просто говорить о новых именах в поэзии, которым впервые такой простор и не только в «Дне поэзии». Другая часть дебютов представлена в «Молодом Ленинграде», который выходит параллельно и впервые целиком отдан поэтам. Выходят первые книжки, подзалежавшиеся в издательских планах. Все это в поле зрения моих заметок, которые по краткости не стану превращать в «поминальник». Выделю лишь некоторые из интересных

ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН

* * *

Ночью падал снег мерцающий,
А под утро перестал.
Словно кто-то засыпающий
Книгу белую листал.

Гор молчание студеное...
Если долго зимовать,
Вещи неодушевленные
Начинают оживать.

Все укрыто, запорошено:
Ни тропы,
Ни колеи...
Глажу,
Словно шею лошади,
Лыжи гибкие мои.

«Выручайте, звери снежные.
Донесите до людей!»
Виновато что-то нежное
Прячу в рыжей бороде.



АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

имен, за которыми угадываются общие тенденции.

Как бы сбилось в минувшую эпоху чувство такта между биографическим временем поэта и историческим. Произошло рассогласование ритмов. Моменты возрастного и творческого пика проваливались в межвременную паузу. Даже у тех, кто старше. «Так это вот и значит возраст!» — удивлялась энергичная Майя Борисова. «До сорока — всё мальчики, всё дети, а с сорока уж — старцы... Так и я», — вдруг ужаснулся Горбовский. «О, как мы создаем тягостно...» — это Татьяна Галушко...

А ведь это поколение тех, кто начинал в короткую пору исторического обновления в пятидесятые. То, что мы сейчас именуем безобиняков застоєм или торможением, а критика загодя назвала «бременем штиля», «притормаживало» и их.

Горбовский, Агеев, Кушнер, Соснора успели сразу найти своего читателя, но лишь сейчас и это поколение начинает осознаваться в своей весомости в довольно широком диапазоне имен — после последних книг Слепаковой, Тарутина, Галушко, Вдовиной, Рецепттера, Халуповича... Явятся и другие. Мы ищем но-

ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

* * *

Как крепко сшита эта доля,
Добро, что выглядит уродой:
Ее привычная неволя
Зовется внутренней свободой.

Она нам молодость продлила,
И главная тому улика —
Все то, что нашим прошлым было,
Грядущему равновелико.

Не умолчав о смертном часе,
Как с гуся годы с нас стекают...
Мы в выпускном, тридцатом классе,
Но, кажется, нас выпускают!

А нас уже не так уж много,
Пустотами зияют парты,
И нас встречают у порога:
Седины,
дочери,
инфаркты...

И все-то ждут от нас, болезных,
Восторгов юных в каждом жесте,
Хоть тридцать посохов железных
Истерты от ходьбы на месте.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

вые имена не только в послевоенных поколениях, хотя о них в основном и пойдет речь, но и знаем цену своему прошлому — его тщету и его смысл:

Все гадаем, что будет,—
наивное слово,
все мечтаем дожить до того, до сего...
Дай-то бог нам при жизни
дожить до былого,
разглядеть, попытаться понять
хоть его...

Так говорит Майя Борисова, так говорит

поколение «детей войны», но где здесь точная граница поколений? Есть у войны еще и младшие дети. Мы, к примеру, с поэтом Виктором Максимовым попали в межпоколенческий промежуток. В ранних стихах он силится воочию припомнить страшный лик войны, а позднее признается: «Я даже той — единственной — бомбежки припомнить, как ни силюсь, не могу».

Но остался шрам войны, ее образ успел войти в наше сознание — разбомбленные здания, люди на крышах вагонов, пленные немцы, холодные мансарды, голодные очереди, на-

Как весело на берегу Куры
 Смеемся мы, поскольку жребий — брошен,
 Нам молодость — последние пиры
 Дает на свой последний звонкий грошик...
 Уже умея прятать из пустоты
 Любовь
 И панацею гнать — из яда,
 Мы здесь по-детски нюхаем цветы,
 Целуем сладкий холод винограда.
 Таская наши жизни за спиной,
 Как тени, у которых рот заклеен,
 Мы нынче не пропустим ни одной
 Из этих замечательных кофеен...

Гляди, Нато, потом не говори,
 Что не встречала звезд зеленооких —
 Мичуринские зреют фонари
 В платановых плантациях высоких!..
 ...Душа чиста, и сумочка пуста,
 Судьба, как вышибала, черноброва...
 Нато!
 Кто первым в горние врата
 Скользнет — за остальных замолвит слово?..
 А если сможет он припомнить вдруг
 Единый миг меж грохотом и свистом,—
 Пусть скажет им,
 Как славно пел петух
 На красном камне, под ножом лучистым!

ЛУНА ВАНО

Вано пасет свою луну,
 Хоть время спать об эту пору,—
 Да как же полную, одну
 Ее оставишь без призору?

Вано спускается с холма
 К Вере *, с луною, без дороги,
 И горная лесная тьма
 Шипами обдирает ноги...

* Вере — горная речка.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

конец, отмена карточек... Это мы впитали в себя, и это многое в нас определило.

Да, мы живем не в безвоздушном пространстве, но совершенно не все равно, у какого возрастного порога подстерегают тебя определяющие исторические вехи. В пять или в пятнадцать лет ты встретил конец войны. В пятнадцать или в двадцать пять — XX съезд партии. В тридцать или в пятьдесят задумываешься о перестройке.

Наш горький опыт протяженнее, но и ценностная почва наша оказалась прочнее — память о всенародном бедствии, объединяв-

шая в трудный час людей. В каком-то смысле труднее и горше было тем, кто родился к пятидесятым и позже. У нас больше упущено, но и больше накоплено. Труднее начинаться творчески под «бременем штиля», чем — пусть затрудненно — продолжаться. У поколения «детей войны» был уже первоначальный всплеск и первоначальное накопление сил. Хуже пришлось моему поколению, но те, кто пришел следом, уже застали жизнь в инерции и словесной подмене, при этом в обманчивом гриме стабильности, большего потребительского благополучия.

Луна молчит и воду пьет,
Губами трогают форели
Подводное лицо ее...
Вано молчит и пьет «Кварели».

Луна проходит полный круг,
Вано за ней хромает взглядом...
Когда приедет Лаша, друг,
Он новый дом поставит рядом,

И выгонять его сыны
Лентяйку эту станут сами...
Здесь осенью под небесами,
Как старость, ночи холодны.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ

* * *

«Что ж, декабрь... Обычное течение:
дождь со снегом или снег с дождем...
Тусклое холодное свечение.
Но — живем. Всё ждем чего-то. Ждем».

Эти строки из семидесятых
не случайно, как эпиграф, взяты.
Поколение, слышишь? Это — мы!
«Инфантильность!» — нам вослед вещали.

Потому что мы — *не обещали*.
Инфантильность... Берегли умы.

А стихи, что появлялись все же,—
суть морщины грубые на коже:
жизнь не ждет, и вот — к одной одна...
Горькое признание — но признание.
Горькое призвание — но призвание.
Горькая, но общая вина.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

Вот откуда наши бесконечные разговоры
о фатальной неуловимости молодых. Их много,
но как-то они ускользают. Им трудно было со-
циально отчетливо определиться. Картина по-
коления была расфокусирована. «Часы свои
с возрастом сверьте: да всё ль у нас вовремя
стало?» — хочет встряхнуть своих сверстников
Михаил Яснов, когда уже немолод.

Точно бы откликается на голос Ирина Зна-
менская:

Уже полжизни позади,
А голос не поставлен с детства.

На нас в сомнении глядит
Литературное наследство...

Мы все дворняги, может быть,
Но мы и сами судим строго,
И если смогут нас забыть,
Ну что ж, туда нам и дорога.

Разудалое уничтожение — паче гордости,
и наши подобравшиеся давно к зрелости моло-
дые еще не поставили на себе крест, как в
отношении их иные критики. Но речь о труд-
ности становления, которая по мановению пе-

* * *

Вот и аукнулись раскаты
тридцатых и пятидесятых.
Интеллигенция? Увы.
Хоть и всегда была в опале,
поскольку вглубь как есть копали,
но — что иных столетий дали,
коль существуют эти рвы...

На что же ропщем, россияне?
Что нарожали бабы пьяни,
что мещанин брюшко наел?
Что зло в открытую поперло,
да как еще! — с оглоблей в горло
тому, кто встать пред ним посмел?

Так начиналось-то — далече.
И наши нынешние речи
во испуление, так сказать,

у стариков — узлами в венах,
у молодых — узлами в генах,
ни разрубить, ни развязать.

Я — не в укор отцам и дедам.
Мы все причастны общим бедам,
все — плоть от плоти этих дней.
Но сколько лет — все брат на брата...
А черной памяти заплата
чем век короче, тем видней.

Россия... Да не изуверься.
Бездушье хуже изуверства,
боль — завтрашняя боль! — страшна.
И если не сейчас, когда же
решаться наконец-то?
Даже
пусть и безмерно ты грешна...

* * *

Ты что, так ничего и не пишешь?

Из доверительного разговора

Спроси не поэт —

объяснял бы, наверное, долго.

Но что за стремление себя непременно увлечь
игрой в словеса

и по зову какого-то «долга»

любой эпизод возводить в стихотворную речь?

АНАТОЛИИ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

рестройки легче не станет. Наоборот — настала пора самой ответственной проверки. Часы придется сразу сверять со своим возрастом, но и с новым возрастом эпохи, вырабатывать в этой сверке глубоко продуманные ценностные ориентиры.

Конечно, в этом поколении много по-настоящему талантливых людей, а мы их почти не знаем. Их скудно печатали или не печатали, предпочитая посредственные, а то и просто беспомощные вирши. Этот поток закрыл от нас, а то и утопил стихи подлинные. Листаешь бесконечные «кассетные» сериалы. Имен мно-

го. Я лично со счета сбился, а стихи на пародию просятся.

Усредненный стереотип печатаемой поэзии породил как бы «теневого кабинет» поэзии непечатаемой, отчасти представленной первый раз в сборнике «Круг». И там и там хватает графоманов — бесхитростные в первом случае и претенциозные во втором. И там и там есть одаренные люди, и есть при всей разнице их коллизий параллелизм.

Печатаемый стереотип подтачивал невольное и людей одаренных. Черты этой одаренности прорастают сквозь стереотип. Славные

А если вот так:
 захлебнулся мгновеньем —
 и замер?

А если вот так:
 обернулся —
 и в горле комок?

И — мать пред глазами?
 И мама — твоя — пред глазами!
 А ты — ни простить,
 ни проститься когда-то не смог...

ОЛЕГ ЛЕВИТАН

* * *

Деятнадцатый век — он как будто за тонкой стеной.
 Динь-динь-динь — колокольчик! — в Тригорское, в Болдино, в Линцы...
 Гром сражений. Балы. Размышленья о жизни иной.
 Декабристы. Поэты. Студенты. Купцы. Разночинцы.

Строчки писем, стихов, протоколы в архиве сыском —
 в них страдают и любят, печалются и острословят,
 на дуэли спешат и сидят в карантине чумном,
 ждут вестей из Хивы и гремучие смеси готовят...

Им самим вся музыка минувшего века слышна —
 о Петре говорят и рабов, как Радищев, жалеют...
 Промежуток в сто лет — так легко созерцать времена,
 современником быть. На себе выносить — тяжелее.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

сборники и стихи, но все-таки крылья по-настоящему не расправить. Поэтическая инерция сильнее. А вот попробовать раскрепоститься, расправить крылья в новой ситуации надо, и кому-то это удастся.

«Теневая» поэзия сделала гордый вызов поэзии печатаемой. Сделала ставку на культурный герметизм, и хорошо, когда является драматическое осознание и этой ошибки, как у С. Востоковой: «Дырявый плащ и вдохновенный взор, весь театральный этот хлам и сор... О муза, стыд какой, какой урок...» При этом культурологические призмы совсем не проти-

вопоказаны, когда герметизм дает спасительную утечку в исторический опыт своего века, как, скажем, в стихах Елены Игнатовой:

Что ж, российский Версаль? Нам достались
 из той стороны
 Этот парк шегольской да надрывное слово
 «блокада»,
 И не кроны деревьев — голодные ребра войны,
 Не золоты арфы, а песни смертей и надыса...

Иногда возникает спор о некоей петербургско-ленинградской традиции. Есть такая поэ-

Но я видел во сне двадцать первого века закат!
Все узнали про нас там, все шифры прочли и чернила!
Жаль, услышать нельзя — что они там про нас говорят...
Лишь бы все это было, о, только бы все это было!

БАЛЛАДА О ГРАФЕ ХВОСТОВЕ

Когда творец стихотворений
в трудах не ведает сомнений,
тут анекдот из давних дней
как не припомнить!

В душевной спальной
генералиссимус опальный
прощался с жизнью своей...

Уже к нему попов позвали,
и граф Хвостов в соседней зале,
торча как перст в толпе родни,
с платком в руке шептал:

«Доколе!

Как жаль, что люди в божьей воле!
Бессмертны — гении одни...»

И думал, как напишет оду
и явит русскому народу
сей скорбный день со всех сторон,
пока завистники, зонлы
на эпиграммы тратят силы...
«И буду — гений!» — думал он.

И мысль уже текла стихами:
«Тоски покрытый облаками,
Я о тебе, Герой...» — но тут,
лишь к рифме «горний» встало «молний»,
вошел лакей и тихо молвил:
«Вас их сиятельство зовут...»

Среди подушек в зыбком свете
лежал кумир и благодетель...
Свеча плыла. Воск пальцы жег.
«Прощай, дружок, верши судьбою,—
сказал Суворов,— бог с тобою,
и... не пиши стихов, дружок!...»

Пред графом все померкло разом,
и, потрясен таким наказом,
Хвостов поднялся — весь в слезах! —
и вышел вон без разговоров...
Его спросили:

«Что Суворов?»

Он всхлипнул:

«Бредит! Бредит! Ах...»

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте..»

тическая ветвь, которая ищет опоры в нетленных культурных реалиях, но как опираться? В продолжении этой традиции много своих вопросов.

Когда, наконец-то, выйдут первые книги Виктора Кривулина, Елены Шварц, Елены Игнатовой, Олега Охапкина, некоторых других поэтов, перед нами раскроются новые дарования незаурядного масштаба, но и в драматическом положении, ибо и здесь каждому предстоит искать силы на творческое продолжение.

О драматизме судеб людей, пишущих

«в стол», говорит жестокую правду Лидия Гинзбург, глубочайший знаток поэзии и соратник Ахматовой, Мандельштама: «Пишущий должен печататься,— замечает она.— Писать ни для кого, ни для чего — это акт холодный, ленивый и неприятный». Речь идет о неизбежном распаде такой продукции в столе, о перзрелом инфантилизме такой позиции, о своевременной социальной нереализованности таланта, полная утрата вкуса к которой кончается рано или поздно губительным кризисом.

Речь идет о самоотравлении. Я бы сравнил это с противоголодом. Сначала в нем хорошо

Был граф, как человек, не вредный!
Но если б только знал он, бедный,
живя на невском берегу,
что есть в Москве птенец курчавый,
что в паре с нянею лукавой
лепечет первые «агу»...

Вот подрастет, поэтом станет
и графа строчками помянет —
и так, и эдак! — то-то, брат,
желал бессмертия? Готово!..
... Но разве слушают Хвостовы,
когда им дело говорят...

НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА

* * *

Выволокли бабу в чисто поле.
Нет, никто ее и не волок —
Шла она сама по доброй воле,
Торопила срок.

К двум коням дуреху привязали
Парни-молодцы,
Извинились и коней погнали
В разные концы.

Два коня, рожденных для полета,
Понеслись, не дожидаясь плети.
Одного коня зовут Работа,
А другого — Дети.

Болен сын — работница плохая,
Вся в работе — так плохая мать...
Разрывают кони, разрывают,
Да никак не могут разорвать.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

дышится в загрязненной атмосфере, а потом человек начинает задыхаться сам в себе. Это не значит, что вещи не могут отлеживаться в столе, да и у каждой своя судьба. Но как принципиальная позиция такая установка полностью обесмысливается в новой исторической ситуации.

Может, именно для поэтов послевоенных поколений сейчас самый переломный момент в поэтическом самовыявлении. Время возрастного, творческого пика как раз их застигло на таком исключительном историческом повороте. И это касается всего поэтического русла

между крайностями парадных и теневых стереотипов.

Ведь поэт ищет и создает свой особый поэтический мир, даже когда откликается на голос предшественника. В первой книге Дмитрия Толстобы есть момент возвращения из армии в родной город — «на Дворцовой лягу целовать асфальт голубой». Как не вспомнить раннего Горбовского: «А я хочу поцеловать вот это небо голубое».

При удивительном родстве в поэтическом жесте и в скитальческих мотивах — это иные

Прабабушке моей жилось неплохо.
Задумаюсь — какое постоянство
Ее во всем с рожденья окружало.

Хоть войны шли, но мир казался вечным,
Хоть войны шли, но разве это войны —
Им не сравниться с сорок первым годом
И с тем, что нам сегодня предвещают.
И прадед строил дом, не сомневаясь,
Что будут в нем и дети жить, и внуки,
Что хватит им угля и рыбы в реках.

Водопровода не было, конечно,
Прабабушка несла на коромысле
Зимой и летом воду из колодца,
Не думая, что в той воде отравы,
Текущая из труб химкомбината.
Прабабушка нисколько не боялась,
Когда под дождь выскакивали дети,
Что этот дождик радиоактивный.

Какое было в семьях постоянство!
Церковный брак соединял до гроба,
И не смущали помыслы супругов
Примеры многочисленных разводов.
А если смерть любимых разлучала,
Их горе было не таким, как наше,—
Людские души числились в бессмертных
И вновь встречались, чтоб не разлучаться.

Прабабушке моей жилось неплохо.
Что правнучке достанется моей?

АНАТОЛИИ ПИКАЧ * «Часы свои с возрастом сверьте...»

скитания в иные времена. Иной человек со
своей интонацией:

Мне вспоминается светло
укромный этот городишко.
А почему? Да потому —
не так уж много в мире окон,
где ты не нужен никому,
но где тебе не одиноко.

Родство со всем миром и сиротство! По-
пробуйте у Толстобы «разлепить» эти два чув-
ства. Их нельзя разъять, как нельзя разъять
характер. Скрытый драматизм, который ни-

когда у Толстобы не рвет на себе рубаху,
прячется за обаятельную улыбку или сарка-
стическую усмешечку.

Не один Толстоба — «речевик», приверже-
нец свободной интонации, живого дыхания
в стихе. «Конечно, не ямб, не хорей, не дак-
тиль, не дольник... А просто сидит соловей
и свищет, разбойник», — заметит по этому по-
воду Ирина Моисеева.

Живая интонация, имитирующая непосред-
ственность дневника, — это уже содержание.
Свойство поэтической природы. Здесь разные
индивидуальности, но и родство в тенденции.

* * *

Однажды я вернусь под отчий кров,
Когда из обихода сгинут войны.
Сниму шинель — пойду пасти коров.
Там лес и поле. Там всегда спокойно.

Мне кто-то скажет: «Ты сошел с ума...»
Но я душой не перекасти-поле.
Мне снятся золотые закрома
Под стражей одряхлевших колоколен.

Бредут коровы в солнце и в пыли.
Стрекозы в омутх целуют воду.
Хотя отвыкли руки от земли,
Не разучился чувствовать природу.

* * *

Помнят здесь старинные законы
И по-русски просто говорят.
А старухи в черном, как вороны,
На скамьях осиновых сидят.

Мудрые они, и верят в бога,
И творят молитвы против бед.
Но в бурьяне прячется дорога
И детей давно в селенье нет.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте ...»

В характере Ирины Моисеевой лукавство, ироническое подтрунивание над незадачливым читателем в признании любви к «тряпкам» и прочим женским слабостям: «Она нежна, а я нежнее. Она нужна, а я нужнее. Какие пропасти родства у верности и воровства». Но при этом:

А как заманчиво поведать —
Заранее,
чтобы не лгать.
С кем целоваться.
И обедать.
Кого от бед оберегать.

Как и Толстоба, Моисеева начинала с такого лаконического, даже эпиграмматического рисунка. Ей нравится разрушать стереотипы казенной добропорядочности, поддразнивая их приверженцев, но близка ей и психологическая приметливость ранней Ахматовой. А еще — сколько воздуха и света даже в прощании с молодостью:

Как мы рады, что мы еще живы,
Что мы вышли на Невский проспект,
Что рассыпались синие сливы,
Что порвался бумажный пакет,

И, на миг забыв святого духа,
Кутаясь в дырявое пальто,
Плачет журавлям вослед старуха:
«Где ж ты, Русь, совьешь себе гнездо?»

СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД

* * *

Солнце в тучах проделало дырку,
Осветило несмело росу,
И затеяла женщина стирку
Нынче утром, в девятом часу.

Мокрый сад просыпался сердито
Под веселое пенье ее,
Белой пеной клубилось корыто,
А вокруг — все бельишко-белье.

Нет уж, солнца сегодня не ждите:
Тучи к вечеру сжали ряды,

И запрыгали в грязном корыте
Капли чистой небесной воды.

Замычала корова в сарае,
Пес забился, скуля, под крыльцо,
А она все поет и стирает,
Рукавом утирая лицо.

И качаются под дождепадом
Ветви буйные, как во хмелю,
И летит ее песня над садом:
«Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю...»



АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

Что блестящее чувство свободы
Не обманет уже никого,
Что прошли наши лучшие годы,
Что не помним о них ничего.

Так уж не помним... Опять лукавство —
чуть горькое. Самое дорогое в поэзии «видится
через ерунду». Рванный пакет... Рассыпанные
сливы и блестящее чувство свободы...

«О, дивный божий пустяк»,— говорил
Пастернак. Умение обнаружить поэтический
блеск в обыденности. У Зои Эзрохи и посу-
домойка с подносом и грязной посудой ла-

вирует между столиков «с небрежной грацией
вакханки». И есть в таких стихах своя грация.
Есть высокие стихи о бессмертии, но есть своя
ошеломляющая заразительность и в такой
внезапной идее:

Сегодня, в эту ночь,
Давайте удерем,
Сбежим отсюда прочь
Туда, где не умрем.
Возьмем плиту, пальто,
Вино, любовь, печаль...
Оставим только то,
Что оставлять не жаль.

Не завладеть — а только на мгновение
Коснуться самым краешком души...
Не мало ли — одно прикосновение,
И стоит ли всю жизнь считать гроши?
Ну что мне дождь, который на рассвете
Упал, как штора, ночь в окне продлив?
Но почему сквозь два десятилетия
По-прежнему он грозен и правдив?
Что снег, который вдруг в конце апреля,
Блеснув на миг осколками слюды,
Запечатлел на твердости панели
Прочь от меня идущие следы?
Ну что мне в давнем вздохе или стане
Любви, короткой, словно волшебство?
Но до сих пор еще хранят ладони
Тепло прикосновения того...

Увидеть, задержаться, оглянуться,
Ответить звуку, слиться с тишиной,
Тянуться, приближаться и — коснуться,
И обойти как будто стороной,
Не понимая, почему так много
Во мне всего, чего я не брала.
Был день, был дождь, был снег, была дорога,
Была любовь, которая прошла...



АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

Короче, и удирать не надо, а выбросить бы из жизни все лишнее, чего не жаль... Стихи Эзрохи вроде бы дневниковы, а главная ее страсть — всякая живность: собаки, кошки, лягухи... Но вдруг оказалось, что у нас глобальный дефицит на эти камерные чувства: «На пенек присев бездомно, я смотрела в даль лесную и впервые так нескромно землю видела родную».

Кто скажет, где грация переходит в изыщество, изящество в изысканность, а изысканность в манерный изыск, и снова в естественность?

Но есть и совсем другой путь и обход стереотипа с другого фланга. Тынянов признавался в любви к шершавым людям и шершавым стихам. В стихах Владимира Лахно — образ «корявых» строек и «шершавого» древнего воителя... «Шершавые» звуки... «Меняла шершавую шкуру река, и деревце, плача, плясало...» «Я услышал: корявое дерево пело» — вспомнился мне Прасолов. А ведь есть поэты, которым так и нужно, чтобы дерево было коряво, а при этом пело. Чтобы мир — вопреки редакторским стереотипам — был кряжистым, глыбастым и неотесанным.

П О Р Т Р Е Т

Воздев на мольберт подготовленный холст,
послав современников к черту,
художник предложит писателю тост
и скажет:
«Прошу к натюрмарту!»

Краснеет хрусталь на дощатом столе,
хрустят огурцы и соленья,
писатель вкушает,
и нет на челе
ни страха, ни тени сомненья.

Балык осетра подмигнет ветчине,
плывет аромат по жилищу;
и барин к бревенчатой сядет стене
и вилкой прицелится в пищу.

О совесть моя!
Ты была бы чиста,
как в этой картине погода,
когда бы не дата с изнанки холста:
«Октябрь сорок первого года».

В О З В Р А Щ Е Н И Е
М А Р Ь И - Ф Р О Н Т О В И Ч К И

Ты шла, и в утренних лучах
к тебе ласкались кроны,
и солнце на твоих плечах
сверкало, как погоны;

как госпитальная постель,
лежала степь, белея,
и овдовевший коростель
скрипел, как портупья;

и оставался средь полей
обугленной вселенной
глубокий след от костылей
в пыли послевоенной.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

В первой книжке Натальи Галкиной ее мужа предстает «горожанкой», «ветреницей с Маяковского» (улица Маяковского) — еще «как школьница с тетрадкой, с уроков мчащая в сады», с пальцами в чернилах. А во второй, спустя десяток лет, она уже скиталица по векам, хотя мы и застаем ее в станционном «Зале ожидания», до полнейшей осязательности знакомом:

Я жду тебя бог весть в каком районе,
В Анапе, в Малой Вишере, в Вероне,
Бреду и еду, ноги притомив,
Из мифа в миф...

Десяток лет — это целая эпоха в единичной жизни человека. Два десятка — две эпохи. У Олега Левитана или Михаила Яснова, о которых мне уже приходилось писать подробнее, и такого перескока не было. Они сразу явились первой книгой уже в эпоху зрелости — как бы в статическом ракурсе и в облике творческой стабильности. Житейская естественность стихов Левитана, их мудрая ироничность при случае так же естественно соединяется с ощущением космичности бытия или океанической стихии.

Свойственную стихам Яснова графическую

ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА

* * *

Когда занимаются войны вдали
и почва становится зыбкой,
учебник истории древней земли
почитывай с грустной улыбкой.

В нем праздничны скрипы военных телег.
И в нем доказывается с жаром:
мы — мирные люди. А вещий Олег
лишь мстил неразумным хазарам.

* * *

Ну конечно же штука не в том,
что построили точечный дом.
Штука, что разрешили в доме
одиночеству жить моему.

А сосед у меня меломан,
а за стенкой другой — ветеран.
И живет подо мной мариман,
и живет надо мной — графоман.

Много стран повидал мариман,
ветеран перевыполнил план,
меломан набивает карман,
пишет пятый роман графоман.

Меломан через стены звучит,
графоман по машинке стучит,
ветеран на собаку кричит,
мариман непонятно молчит.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

строгость поэтического рисунка тоже часто
приписывают «питерской» традиции в поэзии.
Она есть, но есть в ней и что-то ускользающее,
потому что ее составляющие очень подвижны.
Иначе бы возник еще один стереотип — этой
школы. Но ведь узнаем мы безошибочно Куш-
нера по его особой интонации:

Помню, жили в маневренном
фонде

У Дома культуры
Ногина, во дворе,
где всегда штабеля стеклотары,

в бесконечных ночных коридорах —
кошачьи амуры,
в полотняных июльских кустах —
переборы гитары.
Где у гипсовой дамы на тумбе обломаны
руки,

как у луврской Венеры,
и телосложение — то же.
«Метростроя» ей были бы впору широкие

брюки

самохваловской грубой,
испачканной в глине рогожи!..

И хотя не трезвонит звонок,
и никто не приносит миног,
и никто не ложится у ног,
все же стал я не так одинок.

Все же есть у меня графоман,
и лихой удалец мариман,
и последний подлец меломан,
и гражданской войны ветеран.

Вот и чайка летит босиком
обниматься в ночи с моряком,
пыль столбом на балконе одном,
а с другого несет табакком.

Значит, жизнь и в стекло и в бетон
помещает открытый кингстон,
а еще коленкор, и картон,
и гудящий, как шмель, камертон.

Значит, если коробку сложить
и бульдозер над нею прогнать,
все равно в ней останется жить
то, что нам без нее не познать.



АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

А теперь открою маленькую мистификацию, которая для наглядности заостряет вопрос о традиции. Стихи написал Алексей Пурин, выросший в литературном объединении Кушнера. Хорошо или плохо, когда ученик готов написать «под учителя» чуть ли не лучше его самого? А это когда как. В первых книгах учеников Кушнера — Кононова, Машевского, Пурина — мы обнаружим и свой жизненный опыт, и свою иронику, свой поиск... А тогда такие переключки, поиск своей школы и голосового родства — дело благословенное. У Пурина, например, армейская служба, завод, са-

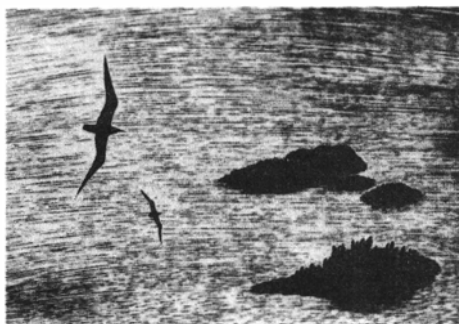
мая косноязычная жизненная проза и утончённая ажурность письма. Но в этом стыке для него все дело. Через него многое понимается.

В предисловии к первой книжке Ирины Знаменской Горбовский также метит ее стихи «призрачной метой петербургско-ленинградской школы», но и отмечает «на изящных ладонях» этих стихов «царапины от соприкосновения с жизнью». Однако в том-то и дело, что в штатное расписание какой-либо школы эти стихи зачислить трудно. Отношение к школам в этом случае клавиатурное.

ВСТРЕЧА С БОРИСОМ КОРНИЛОВЫМ

Строка в стихе шероховата,
Как кожа сосен на юру.
Поют вполголоса ребята,
Подавшись лицами к костру.
Поют Корнилова, не зная,
Что эти строки он писал.
Внизу шумит река сплавная
И рассыпается у скал.
Поют про Каспий.
Где он, Каспий?

Здесь край лесов и валунов.
Да жжет комар — проклятый аспид.
Ладони саднит от багров.
Как получается, не знаю,
Но вот — прикрою я глаза —
Валы на Каспии взлетают,
А здесь качаются леса.
Луна, к работе приготовясь,
Пробила наконец-то тьму.
Мне все леса теперь по пояс,
Как Каспий некогда ему.



В. Емельянов.
К далеким островам. Линогравюра, фрагмент.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

У Пастернака порыв сквозняка «с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка». А у Ирины Знаменской в грозу «занавеска прыгала, как балерина прыгает во сне». А как балерина прыгает во сне? Мы говорили о поэтической грации и несурзанности, но представляю, какая в таких прыжках смесь грации и «несурзанной» свободы, как стихи оступаются в ассоциативные ямы.

Первая книга начиналась с очень непосредственных интонаций разговора с деревом в стихах «Любовь к дереву» — «Пустите руки, Вам уже пора, увидят нас — меня объявят

дурой...» С «Песенки для расстроенной гитары», «Серенады с температурой 39°», как бы насвистываемой песенки собственного сочинения про черного кота... Все это юность — «Тогда еще хотелось плакать от разговоров и стихов»:

Намело же в стекла белой пыли!..
Что молчишь и тянешься курить?
Мы затем друг друга полюбили,
Чтобы обо всем поговорить.

Начинай!.. Но ничего такого.
Мой черед — и тоже ничего.

П Е Р В Ы Й П Р Ы Ж О К

На сон похожи голоса и лица...
Отталкиваясь от дрожащей тверди,
пересекаю зыбкую границу,—
и сразу же до жизни или смерти
мне остается меньше километра...
Я падаю,

лишаясь

веса

тела,

в объятья ослепительного ветра
и с ним лечу к планете ошалело,
и сердце замирает от разгона:
до точки мир стремясь уменьшить будто,
Земля кольцо сжимает горизонта,
а я —
кольцо сжимаю парашюта...
В нуле кольца —
вся жизнь моя,
которой
так хочется,

как прежде,
стать просторной
вот с этого протяжного усилия
рывка!
И парашютный тяжкий горб мой
взрывается на купольные крылья!

Перед землею преклонив колени,
от счастья приземленья

ног не чуя,

привычный мир,
забытый при паденье,
воссоздаю —

из звука,

света,

тени...

И в этот миг лишь одного хочу я:
вдали от споров, от желанья славы
гасить росой лица живое пламя
да целовать дрожащими губами
заплаканные радостные травы...

З Е Р К А Л О

Явный мир перемешался с бредом...
Как подушка, эта ночь влажна:
полня мир своим холодным светом,
ярко испаряется луна.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте..»

Кажется, в начале было слово,
А теперь — как не было его...

Эта легкая поступь сленга, чистосердечие
уступят во второй книге, которая сейчас на
выходе, ассоциативной плотности и напряже-
нию. Как изменятся позывные книг: «Небу
хочется сердца простого» — «Это прутик в
асфальте с сомнительным именем липы хочет
честно цвести, выползая с трудом в небеса».
И все-таки есть множество градаций между
простым и трудным небом.

В одном из стихотворений встречается

образ «учебной тревоги „Последних известий“».
В обыденной жизни легко отмахнуться от этой
тревоги самоиронией: «А тебе если видятся
взрывы и плач — это значит: на левом боку
залежалась». Но суть в том, чтобы ближние,
обыденные покровы жизни не заслонили ее
подлинного лица:

...Ты бывала в горах: средь туристской возни,
Перед тем как отправиться к теплым постелям,
Там в бинокли глядят,
Как сползает ледник,
Как река набухает бездумьем и селом...

Вдруг — как будто в спину холод дунул —
и бесстрастно, словно мертвый лик,
заглянул в окно осколок лунный...
Иль обломок будущий Земли?..

O. E.

1

Такое долгое «прощай»
Что на прощанье жизнь прервется.
Моложе ты
Тебе икнется
Душа моя
Наверх свистай!
Голубка черная как вран
Голубка из последней мочи
Что в небесах от Бога хочешь?
Нужна ли Богу эта рвань?

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

к чему эта мука была,
Словно сжалился кто,
подарив на прощание разум...

Подвижница моя
 Меня подвинуть хочет
 Пожить еще
 И я на поводу
 Живу еще
 Как будто я не кончен
 И легок на ногу
 И молод на ходу.

Если пауза — ладно
 А если конец — не хочу
 Ненаглядною этой весною
 Жизнь мне долго невестой была
 Пора бы уже под венец
 Жизнь мне долго невестой была
 Пора становиться женою.

МИХАИЛ ЯСНОВ

* * *

Лес прозрачен, как намек на осень.
 Вместо тропки — чавканье и прель.
 Мы плащи тяжелые набросим
 и войдем под шорох и капель.

Стал кустарник выцветшим и нищим,
 сизый мох — пружинист и глубок,
 и нога под влажным голенищем
 ощущает зябкий холодок.

АНАТОЛИЙ ПИКАЧ • «Часы свои с возрастом сверьте...»

«Гитарное горло» музыкальных рингов потеснило и вытеснило в сознании нынешней молодежи поэтическое слово. Как ни трудно, но возвращать его вес и влияние придется всем сообща. Это произойдет, вероятно, тогда, когда и нынешние юные будут порождать не только рок-бардов, где еще многовато эрзац-поэзии, но и своих подлинных поэтов.

Но это вопрос другой и на будущее. Поколения, о которых мы говорили сейчас, явились в трудную для них пору исторического буксования. Дело, однако, сейчас не в буксовании, а в открывшейся возможности движения. Она не дарует автоматического взлета. Не всем она

окажется под силу. Но многие, как мне представляется, с лихвой реализуют большой еще потенциал своего поколения. Так что в движении времени предстанет перед нами движение поэтических судеб, да и наоборот — в их движении предстанет наше серьезнейшее и в чем-то неповторимое время.

Вымершие стебли иван-чая
клонятся на вымокшие пни.
Я теперь все чаще замечаю,
как мы лесу этому сродни.

Шелестит невидимая птичка,
эхом отзывается сосна.
Наших душ живая перекличка
никому чужому не видна.

Отошло грибное воскресенье,
все легко и чисто без прикрас.
В этой внешней скудости — спасенье
от досужих возгласов и глаз.

Что с изнанки дремлет и таится,
что уходит в глубь и в вышину,
подожди, воздаст еще сторицей
за терпенье, чуткость, тишину.

* * *

И с ужасом я начал замечать,
что стал на молодых вовсю ворчать,
что громкая их музыка чужда,
что в их вниманье чудится вражда.

Стой, говорю, но ты таким и был,
все тот же их восторг и тот же пыл,
все те же сборы по дворам ночным...
Нет, говорю, я был совсем иным.

Я рос в эпоху бардов и стихов,
я с целым миром был дружить готов,
мне до сих пор понять важней всего,
не в чем различие, а в чем родство.

Что ж, говорю, ты в том не виноват,
что время есть содружество утрат.
Тебе милей в лесу шуршащий лист,
а им — шуршащий по шоссе скейтист...

Шуршат скейтисты в летней полумгле —
одни на всей асфальтовой земле,
наушниками плотно заслонясь
от звуков, потерявших с ними связь.

Меж тем в траве кузнечики скворчат,
скворцы зовут в скворечники скворчат,
и не понять, какому чудаку
кукушка шлет и шлет свое «ку-ку»...





**ЛЕОНИД АГЕЕВ
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ
ЛЮДМИЛА БАРБАС
МАЙЯ БОРИСОВА
РАЙСА ВДОВИНА
АСЯ ВЕКСЛЕР
ЛЕВ ГАВРИЛОВ
ТАТЬЯНА ГАЛУШКО
ГРИГОРИЙ ГЛОЗМАН
МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ
ЯКОВ ГОРДИН
ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ
ВЛАДИМИР ДРОЗДОВ
ВАЛЕНТИНА ДРОЗДОВСКАЯ
АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ
ИГОРЬ ИНОВ
НАТАЛИЯ КАРПОВА
СЕРГЕЙ КАШИРИН
АНАТОЛИЙ КРАСНОВ
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ЛЕВ КУКЛИН
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
ВЛАДИМИР ЛАХНО
СЕРГЕЙ МАКАРОВ
ВИКТОР МАКСИМОВ
НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ**

**ИРИНА МАЛЯРОВА
АЛЕКСАНДР МОРЕВ
ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ
ТАМАРА НИКИТИНА
ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ
ГАЛИНА НОВИЦКАЯ
ИГОРЬ ОЗИМОВ
ЭМИЛЬДА ПАНКУЛЬ
ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ
ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР
ИРЭНА СЕРГЕЕВА
ЮРИЙ СКОРОДУМОВ
НОННА СЛЕПАКОВА
АНАТОЛИЙ СОРОКИН
ВИКТОР СОСНОРА
ЗИНАИДА ТАКШЕЕВА
ОЛЕГ ТАРУТИН
ГЕННАДИЙ УГРЕННИКОВ
ГАЛИНА УСОВА
ЛЮДМИЛА ФАДЕЕВА
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ
ВАДИМ ХРИЛЕВ
ОЛЕГ ЦАКУНОВ
АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ
ВЛАДИСЛАВ ШОШИН
ВАЛЕРИЙ ШУМИЛИН
ОЛЕГ ЮРКОВ**



Б. Комаров.
Февраль. Линогравюра.

ЛЕОНИД АГЕЕВ

* * *

Кто-то ведь записывал те годы!
Есть ведь у кого-нибудь тетрадь,
где

не про гигантские заводы,
не про целину бы

почитать...

Это-то

до шайбочки воспето,
до клочка распаханной земли:
потряси —

и выплывет газета
гнутые и дутые нули...

Взвесил всё, постиг,

переосмыслив,
но... еще тетрадь бы на весы!

Или самостийных летописцев
истинно избыли на Руси?

...Из давно распавшегося круга
молодостью сцепленных друзей —
кто-то ведь

сухой паек досуга

отдавал тетрадочке своей!

Собирал в ней факты без отбора,
повторял: «Дырява голова...»

Вспомнить бы те споры-разговоры,
песен отболевшие слова!

Жесткий переплет, тетрадка в клетку...

Что там — избиравшие пути —

замышляли мы на пятилетку?

Пролетело — более пяти...

Л Ю Б О В Ъ

Может, лет через сто, может быть —

бывших через двести,

умниц, тихонь, простофилей, зануд,
пустомель, знатоков,

работяг всех профессий —
на экскурсию нас позовут.

Бестелесных и видимых только друг другу —
по Земле проведут безголовой толпой:

о такой ли мечтали, «толкая» науку,
над станками горбатясь, вползая в забой?

И такая ли виделась вам — пролагавшим,
открывавшим, старавшимся преобразить?

Не такую ли прочили правнукам вашим,
полномочья слагая, вручая бразды?..

Проведут, перечтут и построят в шеренгу —
очертаньями стершихся лиц на восход.

Златошей петух прокричит «ку-ка-реку!»:

«Кто — на круги земные, два шага вперед!»

И шагнут торопливо одни: «Мы желаем!

Нам пожить, как хотелось

не вышло в свой срок.

Рано в поле ложилась черта межевая,
опускались шлагбаумы наших дорог.

Птицей, деревом, камнем, травой, лозой,
зверем, облаком, эхом ли, тенью любой —
возвращай! Не дразни нас

мечтой золотою!

Мы согласны на все, золотой!..»

А другие не двинутся, не шелохнутся.

«Мы — прошедшею сыты-пьяны посейчас!
 Позабыть — не дано, вспоминать ее — грустно.
 Посмотрели на нынешнюю — не про нас!..»
 «Подравняйся!..»
 Неужели и в эту минуту,
 сделав шаг и пытаясь второй затянуть,
 я тебя в тех шеренгах высматривать буду:

ты
 какой избрала себе путь?..
 Может, лет через сто,
 может быть — через двести,
 прокричит нам петух, наше солнце взойдет...
 Почему же сегодня с тобой мы не вместе —
 объяснил бы какой-нибудь экскурсовод!

ПЕСЕНКА

Не швыряй ключи к моим ногам.
 Не спеши отжать замок тщедушный.
 У порога песенку послушай,
 посочувствуй — душит по ночам!
 Песенку мою на посошок...
 (Что делить нам — богатеям нищим,
 что делить нам, честно поделившим
 годы счастья и разрыва шок?..)
 Песенку мою на ход ноги...
 (Лампочка на лестнице разбита.
 Теплотрасса во дворе разрыта,
 спит светильник — не видать ни зги...)
 На дорожку — песенка...
 «Добро!»

(А часы давно пробили з а в т р а.
 Отдыхают спины динозавров —
 спящих эскалаторов метро.
 А пешком — к утру не добрести
 до твоей постылой одиночки,
 до твоей бездомности,
 до точки,
 за которой — взорваны пути...)
 «Песенку давай! Где до-ре-ми?»
 — «Песенку?.. Слова вдруг позабылись...»
 — «Чьи слова?»
 — «От чьих-то стай отбились...
 Вспомню. Ты присядь.
 Пальто сними...»



ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

(1932—1987)

СЕРГИЙ ИЗ РАДОНЕЖА

(Картина Рериха)

Медведь ел хлеб.

Сергий смотрел на него.

До чего же вкусный был хлеб!

Как пряник!

Время еще спало.

Медведь ел хлеб.

Черный нос его влажно блеснул.

До чего же весело было Сергию!

Он смеялся.

Время проснулось и потянулось.

Медведь съел хлеб

и благодарно лизнул руку Сергию.

До чего же шершавый

был язык у медведя!

Кожу оцарапал.

Время стало и пошло.

Сергий работал.

Медведь смотрел на него.

До чего же розовые были стружки!

Как закат над Радонежем.

Время блуждало в окрестных лесах.

Сергий обтесывал бревно.

Топорик блеснул на солнце.

До чего же ярко блеснул топорик!

Медведь зажмурился.

Время продиралось сквозь густой ольшаник.

Сергий вытер лицо рукавом.

Крыша была готова.

До чего же обрадовался медведь!

Даже приплясывал!

Время вышло на поляну и стояло молча.

Стены с высокими башнями,

купола с золотыми звездами.

Время ходит вокруг и удивляется.

Сергий спит в своей раке.

До чего же сладко ему спится!

Даже завидно.

1967

«Или крылья мне только снились?..»

Нас связывало десятилетие литературного и личного товарищества, сходство некоторых эстетических предпочтений и публикационных мытарств.

Я познакомился с Геннадием в редакции журнала «Нева» осенью 1977-го. Сдержанный, исполненный достоинства, — молодежавый, несмотря на народническую бородку, доцент с черным портфелем в руках. Моложавость долго не покидала его, она уступила лишь роковой болезни, усталости, потушившей его лицо.

Говорят: «Незаменимых людей нет». Это неверно вообще, и в особенности когда речь

идет о художнике. Геннадий Алексеев был художником природным, художником милостью божией.

Если живопись Геннадия театральная и являет собой как бы макеты декораций для трагикомедий Шекспира, то поэзия Геннадия Алексеева поистине архитектурна, геометрична. Четкие линии, летящие в небо прозрачные плоскости, перекликающиеся, опоясывающие словесное строение рефренами и анафорами; обилие света, воздуха.

Иные стихотворцы идут по проселку, регистрируя всякую произрастающую на обочине былинку. Лишь редкие избранники не могут

ЭТА ЖЕНЩИНА И ЭТА КРЕПОСТЬ

В этой крепости сидели декабристы,
а теперь

здесь сидит эта женщина
с гордым профилем.

В этой крепости сидел Достоевский,
а теперь

здесь сидит эта женщина
с большим ртом.

В этой крепости сидел Чернышевский,
а теперь

здесь сидит эта женщина
с прямыми светлыми волосами.

Она сидит здесь каждый день
с девяти утра и до шести вечера.

В этой крепости я как дома.

Эта женщина водит меня

по всем закоулкам

и открывает мне

все двери.

«Погляди,— говорит она мне,—
здесь лежит Анна,
там — Павел,
а здесь никто не лежит,
здесь свободное место».

Перед смертью

я пойду в горсовет

и выпрошу разрешение.

Эта женщина

будет говорить туристам:

«Поглядите,

здесь лежит Елизавета,

там — Александр Первый,

а тут — один мой знакомый,

он занял свободное место».

Эта женщина переживает меня,

я уверен.

НЕОПОЗНАННЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ

Когда я летаю,
меня никто не узнает.

Одни принимают меня за дирижабль
(маловат я для дирижабля),

«Или крылья мне только снились?..»

дорогу перейти, не топчя мироздания. Геннадий было не до инвентарных описей, он словно бы предчувствовал, как мало времени ему отпущено, и потому всегда стремился говорить и писать о большом, крупном, главном. Он начинал с мироздания и тем же кончал, а дорога, и тын, и дождь каким-то неисповедимым образом подразумевались. Так возникла поэзия смысловых далей, освещенных то добродушно-озорной, то горестно-иронической улыбкой, грациозной игрою воображенья, артистизмом. Живая, свежая ветвь того стихового древа, корни которого уходят в поэзию Востока, в частности — персов, заговоривших

под пером Геннадия Алексеева по-русски; младший брат Т. Ружевица и Ж. Превера, Г. Алексеев весь целиком в своих стихах. Палитру русского стихотворства он обогатил новыми своеобразными красками, новыми тонами и полутонами сложно-простого, свободно-несвободного стиха.

Всю жизнь Геннадий Алексеев был верен избранной системе письма, и в этом сполна проявилась цельность его натуры. Как-то зашла речь о Пикассо. «Он такой разный в разные свои периоды,— недоумевал Геннадий,— к чему он стремился, чего хотел?»

Сам Геннадий целеустремленно шел вслед

другие говорят, что я анст
(для анста я слишком велик),
третьи утверждают, что я воздушный змей
(но где же тогда мой хвост?).

«Это же я!» —
кричу я,
летаю и кричу.

«Это же я!» —
ору я изо всех сил,
а сам все летаю.



В. Емельянов.
Играйте, дельфины! Линогравюра, фрагмент.

«Или крылья мне только снились?..»

за своей Жар-птицей, некогда, в пору его литературной юности, полыхнувшей в его либретто на подмостках музыкального театра и с той поры неизменно обжигавшей ему душу и пальцы спасительно-губительным огнем.

Место в отечественной поэзии, которое так преждевременно покинул Геннадий Алексеев, останется вакантным навсегда.

Случалось, мы бродили с ним по укромным улицам Петроградской стороны с их неприятельным модерном. Геннадий любил эти улицы так же, как средневековый лабиринт

Риги. Там, в этих уголках земли, блуждает эхо его шагов, напоминая о прошлом и... будущем.

Ты не любишь, когда останавливаются часы.
Тишина, разверзающаяся с последним содроганием гири на ходиках,
тишиной мироздания, вечности отдает,
где мы оба однажды с тобой растворимся,
и тогда уж ничто нас не разлучит —
две секунды из сонма бессонных секунд,
промелькнувшие на циферблате Земли...

Игорь Инов

ЛЮДМИЛА БАРБАС

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Не смята сырая подушка:
последняя наша пирушка
еще на одном рубеже.
Стареет лесная лачужка,
пригреет, но эта ловушка
меня не обманет уже...

Я все ж городская пастушка..
Из чаек — одна побирушка
летит на остывший песок.
Прощайте, и лес, и опушка,
и лета разгар и макушка,
и жизни не худший кусок...

* * *

Проворонила вас,
пролистая,
дни мои,
вы отбились от рук!
Не слышали,
что осень настала,
не пора ли
вернуться на круг?

И тогда,
полагаясь на время,
благо климат
к зиме здоровей,—
я хоть что-то
отлажу в системе
неотлаженной жизни
своей.

* * *

В больничной тишине
не вспомнят обо мне,
когда моя душа,
проснувшись от наркоза,
сама едва дыша,
врачует не спеша
неслышимую боль,
невидимые слезы.

Подумать бы о ней:
ей все-таки больной.
Себя ей не познать,
а кто ее оценит!
Старалась как могла,
любимых не спасла,
друзей не сберегла,
себе уж не изменит...

* * *

Перевалив на новый год,
в метель, туман и гололед,
поближе к февралю,
найду я способ выживать,
но без того, чтоб забывать,
как я тебя люблю.

И ты, предчувствуя циклон,
его стихией усмирен,
не то что во хмелю,
пойми, беды не миновать,
едва ты станешь забывать,
как я тебя люблю.

* * *

Поначалу обеты, а после обиды,
и навет,
и желание ставить на вид...
Будто мы без того недостаточно биты,
будто где-то у нас
не взаправду болит.
Все гадаем, что б у д е т —
наивное слово,
все мечтаем дожить до того, до сего...
Дай-то бог нам при жизни
дожить до былого,
разглядеть, попытаться понять хоть его.
Замыкается жизнь.

Что жалеть, чем гордиться,
что себе засчитать в искупление вины?
Для родных мы —
чужбина, почти заграница,
а чужим — до последней кровинки видны.
Завертелись, зажмурясь, и —
го́ловы крúгом.
И теперь так нетрудно,
шагнув наугад,
негодяя простить,
порассориться с другом
и принять за рассвет
бледно-алый закат.

БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ АТОЛЛЕ

(На темы газетных сообщений)

Мирный маленький народ
на атольчике живет.
Он не пашет и не сеет,
привозное ест и пьет.
Он живет на том атолле
не своей послушный воле:
сдернули с родной земли
и сюда перевезли.
А родной его атолл
гол, как бильярдный стол,
и обуглен, и бесплоден,
так как весь
проводороден,
и проатомлен насквозь,
и оставлен на авось.
Скорбный крохотный народ
под присмотром
круглый год
флота, авиаразведки,
как больной звереныш
в клетке.

И наука смотрит в оба,
в оба глаза-телескопа,
как народ питается,
как любить пытается,
сколько там родится деток,
форм каких,
каких расцветок...
Засекреченный народ
на атольчике живет.
Господи,
да что попало
я теперь снесу, свезу!
Лишь Земля бы не пропала,
вся как есть бы
не пропала,
та, где на атолле малом
мальчик
ручкой шестипалой
вытрет светлую слезу
на затылочном глазу.

* * *

...Прощай, трава,
прощай, трава:
тебя я новой

не увижу.

Но не прощай меня, трава!
Ведь и невыжженной — не выжить...

...Прощай, жена,
прощай, жена,
я в общей доле — лыком в строку.

Но не прощай меня, жена,
что эту стройку
сдал я к сроку!

...Прощай, весна,
прощай, весна,
моя последняя, быть может...
Но для других
пребудь ясна,
и безопасна, и погожа!



В Алексеев
Михайловское. Офорт.

РАИСА ВДОВИНА

У Л И Ц А

1

Через цветущую картошку,
Сквозь лебеду и молочай
Растягивал свою гармошку,
На волю выскочив, трамвай.

Здесь полпути кончалось в давке
И ровно половина дня,
Шатался пол, качались лавки
И руки в стремени ремня.

Каким турусам и колесам
Здесь предана бывала я,
К стеклу прижавшаяся носом,
На эти гляючи края,

В которые себя вживала —
В жилые эти миражи,
Которых нет как не бывало,
Едва свернешь за гаражи.

Чернеет сеть ветвей сквозь верхний слой одеж,
Пласты кустов то зелены, то ржавы,
И сеет непрерывный мелкий дождь
На ярые кленовые пожары.

Вид октября. Я так его люблю!
Звездой на грудь кленовый лист леплю,
И навещаю пустыри, и там
Ищу пути сквозь тернии к звездám.

Отрада мне и сумеречность утр,
Еще не запечатанная стужей,
Земля сосредоточенная внутрь,
Бегущая наружности досужей.

И принимаю в ней и высь и грязь —
Кидаясь жить,
как будто спохватясь.



В. Емельянов.
Мне снится тайга. Линогравюра, фрагмент.

АСЯ ВЕКСЛЕР

* * *

Наши с тобой заповедные дали,
годы похожи на местность в холмах.
Что мы умели бы, кем бы мы стали,
если б носила нас жизнь на руках,

если б хранила от ноши громоздкой,
сыпля благами без мер, без границ,
и не была бы достаточно жесткой
даже помимо трагичных страниц?

* * *

Порою ранней ожиданья
судьбы, не сплошь сулившей милости,
я стих слагала из желанья
добра и жажды справедливости.

незаменим был стих как способ
восстановления гармонии.

Поздней, когда шагнешь — и осыпь,
а непогода мечет молнии,

Не дар — бессонный дух протеста,
знак вызова быстротекущему,
стих и теперь приходит вместо
спасения — поправкой к сущему.

А Г А Т

В этом агате осталось тепло Коктебеля,
мареву дымчатой бухты,
 волна, окаймленная пеной,
воздух, настолько родной, словно от колыбели
только его и вбирала
 полжизни, как вид несравненной
береговой полосы, где холмы и распадки,
гор соразмерные главы,
 волошинский профиль отвесный,
дерево-память, где все — подтвержденье догадки:
райские кущи вторичны,
 вначале был рай поднебесный.

Близ перевала, где тропы все меньше пологи,
планером, птахой парила
 на токах легенды и были.
И у могилы стояла, подумав, что боги,
будь они смертны в Элладе,
 друг друга бы так хоронили —
вровень с вершинами, с небом и все же на суше,
благословенной Тавриде
 подобной хотя бы отчасти.
Лгут, что счастливее нас нерожденные души,—
горя земного не зная,
 зато и великого счастья.

Чувств полнокровных испытывай нас амплитуда,
ты, прозорливая память,
 и ты, незабывчивость зренья.
Все-то там было по мне. И пленяют оттуда
даже фрагменты, детали
 картины, смещая мгновенья.
Прашур, что знал Средиземного моря соседство,
сердцу ль навеял, что ветром
 таким же бывал он обласкан?
Светится ль мамино феодосийское детство
с улицей вдоль побережья,
 неведомой мне Итальянской?

Да не прижиться уж там, словно в оранжерее,
теплого моря вдыхая
 с туманом не смешанный запах,
чувствуя тягу иную, что много сильнее,—
города рек и каналов,
 равнин твоих, северо-запад,
лета, с которым скорей всего выйдет осечка,
свежего воздуха,— листья
 откружит он за три недели.
Зонт раскрывая, взгляну невзначай на колечко.
В этом агате, скажу я,
осталось тепло Коктебеля.

ПЕСНЯ О ПОРТНОМ

Не ходят беды стороной.
Но, как-никак, живет портной
в старинной песне, вдалеке,
в почти умолкшем языке.

Прихлынув, душу бережит
мотив сквозь местечковый быт,
погромы, гетто, газ печной,
рвы с шевелящейся землей.

У песни — песенный удел.
Осталась в тех, кто уцелел.
И я узнала не из книг
Шолом Алейхема язык.

Ее, по дому не снуя,
певала бабушка моя.
Ее доньше мой отец
поет, вздыхая под конец.

Выходит, я пошла в родню.
Перевести, о чем пою,
я попытаюсь, но прости —
точь-в-точь нельзя перевести:

«Все дни портной
сидит с иглой.
Встает чуть свет,
а хлеба нет.
Лишь знай держись —
кругом нужда.
Коль это — жизнь,
что смерть тогда?»

Не песня — кособокий кров.
Дом без еды и печь без дров.
И над шитьем сидит, понур,
бедняк с юдовинских гравюр.

Его б от песни отделить.
Его б меж нами поселить.
Ему б вручить немедля дар —
зарплату или гонорар.

Ему б освоиться в судьбе
и словно бы не о себе
тянуть вполголоса напев,
чтоб не забыться, очерствев.



НАТАЛЬЯ БАНК

«Власть суеты свелась к нулю...»

Поколение середины века — так иногда говорят о нас. О тех, которые родились в тридцатые годы, на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов выпустили первые книги. Очень разные, мы — вместе — поколение, не номинально, не просто потому, что сверстники. Нас объединила кровная причастность времени, прав Л. Агеев: «особый нам достался век», «со стуком поставлена... печать» его на каж-

дом. Детьми мы испили до дна горькую чашу военного лихолетья. Нашей юности дала крылья *синяя весна* («Синяя весна» называлась книга стихов В. Луговского) 1956 года, весна XX съезда Партии, пора надежд и очищения Правдой. Из самого воздуха времени, из общественной атмосферы, подобно электрическим разрядам, исходили сильные импульсы к творчеству. Это тогда сказал Л. Мартынов:

* * *

Невесело шутил Азкерт,
Дерзил вождю Анаманта.
Азкерта съели на десерт,
Когда поели мамонта.

Азк удивительный остряк,
Он жил до электричества,
В него воткнули восемь шпаг
Друзья ее величества.

Азкер пел песни и свистел,
А песни о наместнике.
Его распяли на кресте
Угрюмые ровесники.

Аз мрачен был, как чернотал,
Разил врагов остротами.
Он просто-напросто пропал
За дальними болотами.

Азке веселый был пострел,
Читал стихи с амбицией.
Его спалила на костре
Святая инквизиция.

А мы, поэты наших дней,
Шалим сатирой в малости,
Мы этих ранних поумней
И доживем до старости.

ДУЭЛЬ

(Шутка)

У стен разбитой цитадели
Два графа — юный и седой —
Сошлись...
Ох, грозен миг дуэли,
Но граф,
Который молодой,
Воскликнул:

«Право же, ничтожней
Причины для дуэли нет!
Вы мне отдайте долг картежный,
И я отброшу пистолет».
Но граф седой сказал сурово:
«Ну что пошла за молодежь!
Она за долг убить готова! —

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

Что-то
Новое в мире.
Человечеству хочется песен.

Песни-стихи не заставили себя ждать. Время выражало себя стихами. Целая плеяда молодых поэтов появилась и в Ленинграде. «Поиски» (Л., 1958) Владимира Британишского, «Поиски тепла» (Л., 1960) Глеба Горбовского, «Земля» (М., 1962) Леонида Агеева, «Первое впечатление» (М.—Л., 1962) Александра Кушнера, «Январский ливень» (М.—Л., 1962) Виктора Сосноры, «Идти и видеть» (М.—Л., 1965) Олега Тарутина,

«На первом перевале» (Красноярск, 1958) Майи Борисовой... — маленькие, с ладонь, первые сборники. Теперь они уже в основании книжных пирамид, незаметно возвысившихся в течение нашей жизни, в те самые сроки, когда поколение перешло из молодого в средний возраст. Перечитывая первые книжки ровесников, понимаешь: искренностью, честностью, смелостью поиска, творческого риска они до сих пор держат «пирамиду».

Смотрю на обложку «Поисков тепла» Г. Горбовского: невысокое коренастое деревце упрямо, цепко держится на ветру, в открытом пространстве, обозначенном несколькими маз-

И зло добавил: —
Подождешь!»
Лил дождь.
Дуэль была недолгой.
Но первый выстрел
стал судьбой —
Седой упал.

Он чувство долга
Унес, как водится, с собой.
Два секунданта тихим шагом
Шли прочь, и старший просипел:
«Не перестроился, бедняга».
Второй добавил:
«Не успел».

* * *

Подарок этот делаю любя,
Зажги свечу.
Иди ищи себя,
Ищи упрямо.
Если не найдешь,
Ищи того, кому и так сойдешь.



НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю..»

ками — полосами света. Теперь, спустя годы, в этом лаконичном, скромном рисунке видишь символ, о котором вряд ли думал художник: поэтические дебюты нашего поколения отличались упорством молодых деревьев, не в искусственных заповедных условиях выращиваемых, а прорастающих на земле силой своего естества.

Это были дебюты людей талантливых и непохожих. И они друг друга сразу находили, испытывали друг к другу взаимный интерес: лирически углубленный, с изысканной точностью выстраивающий стихи А. Кушнер и размашистый, зачастую пренебрегающий поэти-

ческой гармонией Л. Агеев; уравновешенный, вдумчивый В. Британишский и взрывчатый, словно назлектризованный энергией поэтического поиска В. Соснора. Наверное, сейчас это может показаться достаточно банальным, но факт, что тогда молодых поэтов объединяла радость открытия — в стихах — человеческой личности. У каждого был свой ключ для этого. Авторы первых книг вместе создавали, а вернее сказать, возрождали поэзию не профессий, а жизни человеческой во всем ее многообразии:

Разве мы фрезеровщики?
Мы — человечество,—

* * *

Устройство старины зеркально:
В ней тайна встречной перспективы,
И отраженье жизни дальней
Всегда мерцает впереди вам.

Ты говоришь: сегодня ветер
Кудрями застилает лица,
Но я-то знаю: время-вектор
В затылок дует, дальше мчится.

Мы потому с тобой неровно
Вдыхаем этот воздух острый,
Что с временем порыв любовный
Бросается в единоборство.

Кому кричать: милосердствуй!
Разлуке? Вечности? Покою?

Нацелено от сердца к сердцу
Любви движенье круговое.

Среди ненастья в мире голом,
Любимый, стань передо мною!
И с голосом сольется голос,
Заплещут кудри за спиною.

Опять листва покроет ветки,
И сад живым сомкнется сводом.
Несуществительные предки
В саду сойдутся хороводом.

А мы с тобой — посередине,
Подняв две розы, как для тоста.
Там — лепестками — в сердцевине
До срока вжатое потомство.

БАЛЛАДА

И потому что холодные волны,
Сосны и белые дюны
Приворожили бесстрастно и больно
Душу южаночки юной,

После искала в любви своеволя,
С виду почти ледяного,
Вовсе не розы, а йод с канифолью
Нравился ей до озноба.

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

восклицал В. Соснора, и это утверждение звучало полемически.

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов не было принято издавать первые книги с предисловиями маститых поэтов. Такой обычай появился позднее. «Январский ливень» В. Сосноры с рекомендацией Н. Асеева выглядел исключением из правила. В поэзию тогда входили, не прячась за чужие спины, не заслоняясь авторитетами, без «пропусков», подписанных известными именами. Молодым претило малейшее литературное иждивенчество. Хотелось отвечать самим за каждое свое слово. И — отвечали.

А какие поэты были живы тогда! Гордость советской литературы, ее славная история воплощалась в именах М. Светлова, В. Луговского, Б. Пастернака, П. Антокольского, А. Ахматовой, И. Сельвинского, А. Твардовского, Л. Мартынова, О. Берггольц. Мастера, они не держали себя «мэтрами» по отношению к молодым. Многие из них поэтически сами словно заново рождались, работали с юной дерзостью, стремясь «последней спичкой зажечь высокие костры» (М. Светлов). Кажется, все было сызнова.

Что было! Каких только не было песен,
Каких только осеней, весен и зим!

Дом на горе, двухэтажный с дороги,
В хвою распахнут на склоне.
Море взмывало. Ждала на пороге,
Горло притиснув ладонью.

Видела: сильная линия пляжа,
Фронт горизонта контрастный
Были честны, до жестокости даже,
Но потому и прекрасны.

Словно глаза молодого атлета,
Лето без тьмы — сквозь ресницы!
«Милый, скажи мне, откуда здесь флейта?»
— «Это не флейта. Синицы».

Слушай, за эти мгновенные ночи
Не говори мне спасибо...
Чайки, морские цыганки, хохочут,
С визгом бросаясь на рыбу.

В О Ж А Т Ы Е

Они всегда вдвоем. Вдоль полосы
Прибоя, или вровень с краем света,
Вдвоем, и — под одним плащом — поэты.
Кто? Пушкин и Мицкевич? Шиллер с Гете?
Нет — здесь разновременные часы:
Дант и Вергилий этой пары мета.

Тот, кто не оглянулся, — не Орфей.
Меня бы не признала ты, конечно.
Ни спутницей, ни «путницей нежной».
Но выбираю я: ведь я — бедней.

Ты где? Послушай, приостанови
Бег всевременный свой в пути суровом,

Поверь дыханью помнящей любви
И слабый голос, излученный словом,
Блещающей рукой благослови.

Есть вид одностороннего родства:
Искусства перелетные качели.
Толчок в груди — и, значит, я у цели.
Так Медичи на фресках Боттичелли —
Гонцы и очевидцы рождества.

Едва касаясь шали вороной,
Косым углом летящей за плечами,
Как тень твоей гордыни и печали,
Я — позади, я — за твоей спиной.

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

Их ворох отброшен, и ворот мне тесен,
И мир окончательно неотразим! —

писал П. Антокольский в 1956 году в стихотворении «Открытое время».

И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь...—

вторила ему О. Берггольц. Именно в ту пору она говорила, что «никакого мастерства нет», что в каждом очередном произведении (стихотворении, поэме, лирической прозе) она, поэт, словно опять рождается.

Это было ощущение собственных неисчерпаемых возможностей, непредугаданности дальнейшего пути, поэтических открытий, которые еще предстояло совершить. Об этом хорошо скажет в «Песне дальней дороге» М. Дудин:

А моя судьба не с краю —
Смотрит окнами в зарю.
Я и сам еще не знаю,
Что я завтра сотворю.

...Мы, молодые, вступали в литературу на благоприятной волне всеобщего ожидания.

Я вымру, как эллинский город,
Разрушусь на щебень цитат,
Чей звук запылывшийся горек,
Но старчески молодцеват.

Я вымру от хищного корма,
От нежного ветра молвы,
От той популярности горной,
Где всем не сносить головы.

Страниц совместив перепонки,
Как бабочку — в лупу, в упор,
Разглядывать станут потомки
Судьбы крылоглазой узор.

Все вроде на месте, все цело,
Но жизни поденная рвань

Вдруг блеск обретет драгоценный:
Веселых зрачков не порань!

От слез моих темных, от крика,
От боли, сплошной, как январь,
Откупится глянец открыток,
Кино полотняный букварь...

Ну? Как тебе нравится это?
Сынок, я шутила, не плачь!
Не вышло из мамы поэта,
Тащи сюда кеды и мяч.

Играй... Пошутила я, милый.
Не вышло. Мы все спасены.
Нам сбудется тайна могилы
И вечная память сосны.



НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

Надо было оправдывать надежды не в отвлеченном будущем, а сейчас, в «настоящем настоящем» (Л. Мартынов).

Ленинградцы стартовали позже московских сверстников и собратьев. Те уже вовсю, по выражению Н. Рубцова, «шумели», кое-кто подогревал естественную популярность саморекламой, молодых поэтов окружало множество сторонников и не меньше недоброжелателей.

Дебюты ленинградцев проходили скромнее, тише, без широкого использования дополнительных средств, усиливающих известность. Главным пропуском в поэзию, в будущее служили сами стихи.

Ленинградцы поэтического «призыва» конца пятидесятых — начала шестидесятых годов были новаторами по натуре, по молодости, но не противопоставляли себя «старикам», тем более что иные «старики» — мы хорошо это помним — задавали в поэзии тон.

Конечно, возникали и неизбежные споры, и вспышки неуживчивости с той и другой стороны. Но стремление к взаимопониманию преобладало. В. Шефнер писал впоследствии, что «молодые поэты послужили как бы неким бродильным началом... подняли интерес читателя к поэзии вообще». Г. Семенов откровенно говорил о том, что его подопечные из литобъеди-

* * *

Беру я свой рюкзак потрепанный,
на степь скуластую гляжу.
Какими ухажу я тропами,
в пески какие ухажу?

Не то чтобы пути не знаю —
мне любо наобум брести.
И тишина кругом резная,
из желтой бивневой кости.

Простор степей безостановочный
меня затягивает вдаль.
На месте древнего становища
я встречу древнюю печаль.

Замрет душа моя ковыльная
и заколышется опять.
...И начинают травы пыльные
свои напутствия шуршать.

* * *

Торжественен осенний перелет —
всей птичьей жизни
формула простая.
Как величаво по небу плывет
на теплый юг
сорвавшаяся стая.

И осень неразгаданно томит
птиц и людей.
Печалью тихой точит.

Какой глубокий смысл в себе таит
в раскрытом небе птичье многоточье...

И с незапамятных времен —
 постигнуть мне бы! —
 неистребимый острый стон
 оставлен клинописью
 в небе.

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть сцеты свелась к нулю...»

нения при Горном институте, те же Горбовский, Агеев, Британинский, помогли ему обрести себя, заставили писать по-новому. Помню, с каким мудрым спокойствием Н. Тихонов на дискуссии о современной поэзии, проходившей в декабре 1959 года в Ленинграде, утихомиривал страсти, кипевшие вокруг неэтичного поведения, эпатирующих высказываний кое-кого из молодых, — он заметил, что и «желтая кофта» (имея в виду, конечно, молодого Маяковского) и «красная» (в красном свитере выступал на этой дискуссии Е. Евтушенко) — неизбежные признаки молодости, не в них суть...

«Старики» не покровительствовали, а щедро делились с молодыми «черным хлебом своего существования» (П. Антокольский).

Как без них пусто теперь им, умелым, опытным, давно перешагнувшим порог зрелости. Печаль по Старiku (с заглавной буквы пишет это слово С. Давыдов) — печаль по ученичеству, невозвратному, как юность, мать, первая любовь:

Кто оценит
стихов вороха?..

Не хватает нам всем Старика!

.....
Он бы крикнул.

МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ

* * *

Как здесь близок каждый уголок —
На какой из этих тропок малых
Завязать на память узелок,
Чтоб меня она не забывала?

Чтоб деревья помнили меня,
Как меж ними шел неторопливо
Я на склоне гаснущего дня,
Как смотрел на чаек у залива.

Как, в руке травинку теребя,
На песке сидел я в день воскресный,
И вбирал я шорох трав в себя,
Голоса листвы и птичьи песни.

На какой из пройденных дорог,
Может, на луче заката алом —
Завязать на память узелок,
Чтоб земля меня не забывала?



НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

Иль просто б взглянул
свысока.
Вот ведь горе...

Без Асеева
худо Сосноре!..

В этом искреннем монологе эхо памятных
нашему поколению лет, тени людей, которых
нам посчастливилось знать.

Хорошо, если и сейчас есть кому доверить-
ся в своей же литературной среде. От старше-
го, более опытного, искушенного в поэзии со-
брата, единомышленника ждешь не похвал

(они-то зачастую означают равнодушие), а
правды, заинтересованности в твоей судьбе,
дружеской беспощадности.

Именно так прочел рукопись последней
книги Нины Альтовской Михаил Дудин. Это
была последняя большая, трудная радость в ее
жизни. В книге «Диктанты сентября», вышед-
шей после смерти поэтессы, одним из первых
идет стихотворение «Уроки мастера», посвя-
щенное М. Дудину:

Оплаканы удачи,
им битый грош цена

.
Он слово к слову — в слиток,

* * *

Не нам на рассвете решать,
что с миром случится к закату.
Старайтесь поглубже дышать,
Возьмите в сарае лопату.

Начните копать огород,
затем улыбнитесь беспечно.

И верьте не только в народ,
но также — в туманное нечто.

Узрев над рекою туман,
взглядите в него безоглядно.
И молча поверьте в обман,
чтоб истине стало... накладно.

С Е М Е Н О В Н А

В. П. Астафьеву

Семеновна, в глазах твоих тоска.
Нет, не тоска, пожалуй, это — время.
Не ведал я, что жить на свете вредно:
Линяет взор, как поздние луга...

Нет, не тоска... Живым — не до нее.
Вошла корова в узкую калитку,
Сбежались кошки к дивному напитку
И теплое лакают бытие.

Огромная, аж наклонила тын,
На огороде вымахала тыква!
Семеновна, скажи, а как же ты-то?
Старик в земле... Последний спился сын.

Отменные над речкой клевера,
Их не берет коса... А кто — наточит?
Я — не умею. Дед-сосед... не хочет.
Прости, Семеновна, однако мне пора.

Пора к себе. Я городом влеком.
Я вновь бегу, шепнув тебе «спасибо».
Ты остаешься сторожить Россию,
Пить ее целебным молоком.

Семеновна, прощай. Живи всегда.
В глазах твоих любовь, в терпенье — сила.
Смотрите-ка, как встарь, перекрестила!
Кого? Меня? Дорогу? Города?

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

иначе не велит
и не дает мне скидок
на то, что есть пегит.

Я смелости уроки
у мастера брала:
«Нет браги без отваги,
нет песни без крыла!»

...Допускаю, что, обращаясь к нашей литературной молодости, чисто ностальгически немного приукрашиваю прошлое. Но — совсем немного. Ведь была же, была атмосфера взаимного доверия молодых и старших, располагающая к творчеству — к стихам и не

только к стихам! Не могу не сказать еще и еще раз о той удивительной душевной открытости, которую Ольга Берггольц подарила мне, безвестному, начинающему критику, задумавшему тогда написать о ней книгу.

Способность дорожить уроками предшественников, жизненным, поэтическим опытом старших, не тех великих, хрестоматийных, давних, а тех, с которыми бок о бок жили на этой земле (о них горький вздох в стихах Л. Агеева: «А старших-то... все меньше их») — характерна для нас. Если говорить о поэтах нашего поколения, то у них чувство сыновней, преданной связи со старшими по-

* * *

Какая длинная зима,
какая долгая тревога.
Все эти вывихи ума
и опрометчивости слога...

И хоть судьба — как Древний Рим:
в руинах дух и оболочка,—

еще стрекочет в жилах ритм,
во рту позвякивает строчка!

И сердцу дороги весьма
все эти зимы, храмы, сцены...
Какая долгая тюрьма,
какие призрачные стены.

* * *

Хочу увидеть короля.
Живого, в праздничном мундире.
Наверно, есть еще земля,
пускай — единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,
принцессы, бледные с лица,
по гроб влюбленные в кого-то...
Ведь где-то есть!

А может,— нет?
Скорей всего — король задушен.
Дворец пошел под сельсовет
или, по пьянке, был разрушен.
Смекнула стража, что к чему,
ушла в пожарники... А девы —
так до сих пор и не пойму,—
принцессы глупенькие, где вы?
1960



НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

явилось не вдруг, было свойственно им и в молодости и, судя по первым книжкам, не вытеснялось естественной жаждой самоутверждения. В этом особенность лица именно ленинградских поэтов, начинавших в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов.

Вероятно, «генетически» в нас многое заложено нашим городом.

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампи́р от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.

(А. Кушнер)

Наша «малая родина» — такая. Привычнее читать (и писать!) о благотворной роли в судьбе поэта деревенской, сельской «малой родины», а разговор о ленинградских «корнях» сводить к запасу культуры, к просвещенности. Между тем от этих корней — широта взгляда, способность понять и принять иную традицию, иной склад художнического мышления, и всемирная отзывчивость, и культура общения. В лучшие времена истинным талантам не было тесно существовать рядом в поэтической жизни Ленинграда.

Годы шли. Выпустили книги Вадим Халупович, Татьяна Галушко, Виктор Максимов.

БАЛЛАДА О КВАРТИРНОМ ПОЭТЕ

На кухню вызвали поэта
и подбоченились жильцы.
Соседка пепельного цвета
взяла поэта под уздцы,
затем на спину взгромоздилась,
затем — пришпорила бока!
Отцы-самцы заходят с тыла,
как безысходная тоска.
«Вы что же, милый, в туалете
не сполоснули унитаз,
и на общественном паркете —
дежурство ваше — ваша грязь!
У вас дебоши каждодневно:
поют, стихами говорят!» —
Жильцы притоптывают гневно,
кусить десною норовят.
«Па-ет! Рифмач! Наверно, контра!

Небось похабщина?! Смотр-ри!»
Поэт отрезал руку бодро
свою... Отдал соседке: жри.
Оттёпал ногу по колено
и протянул отцу-самцу.
Затем чугунно-вдохновенно
себя ударил по лицу.
И голова тугим арбузом
упала в мерзкое ведро...
Жильцы ушли с набитым пузом,
их богатырское нутро
не поглотило только — красный
расплавленный комок в груди...
О, как прекрасно-безобразно
маячит слава впереди!
1957



НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

В середине семидесятых годов наконец-то «догнали» сверстников, дождались издания своих первых сборников Геннадий Алексеев, Игорь Инов...

Поэты, о которых рассказываю, нашли себя главным образом в лирике. Что касается поэм: время от времени за них берется Г. Горбовский, памятна сверкнувшая трагическим оперением «Жар-птица» Г. Алексеева, вот, пожалуй, и все. Но разве предпочтение малых форм говорит о камерности поэта? Разве не полнятся книги лирических стихотворений Г. Горбовского, А. Кушнера, Г. Алексеева, Т. Галушко и других серьезными раздумьями об эпохе, о ду-

ховной и душевной жизни человека? В пору зрелости — в «пору приобретений» (так называется одна из книг Л. Агеева), когда «...все больше хочется сказать, все меньше — говорить», поэты моего поколения озабочены тем, чтобы не разменять поэзию на мелочи, чтобы, промывая песок будней, как об этом пишет Г. Горбовский, добыть и оставить в стихах драгоценный осадок.

Прямота, откровенность гражданского и человеческого (что одно и то же) чувства, умение прорывать «трудное... молчанье», когда требуется слово поэта, дороги в Л. Агееве, Г. Горбовском, В. Халуповиче. При этом — за-

ЯКОВ ГОРДИН

* * *

Ручной пулемет Дегтярева,
Который я честно носил,
Ни жестом, ни взглядом, ни словом
Меня ни о чем не просил.

Что шепчет в полночную стужу,
Когда мы с душою вдвоем,
Угрюмая верность оружия
В смертельном соблазне своем?

И в диких лесах Верхоянья,
Когда я остался один,
Ни жалости, ни подаянья
Не требовал мой карабин.

Как будто из леса вызывает
Морозный уверенный свист,
Как будто над лесом взмывает
Багровый осиновый лист.

* * *

И времени провалы голубые,
Как дымчатые пропасти в горах,
Курятся смертью над глаголом «были»,
Над малым словом тучей вьется прах.

Слова судьбы, смертельные глаголы,
Как черных птиц парящие кресты,
Вы — языка железные монголы,
Исчадя наступающих пустынь.

Клевреты времени, сообщники движения,
Свободные, скользящие везде,—
Какое гордое самоуничижение
Своей рукой чертить вас на листе.

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

метим — самые острые стихи тех, кого я уже называла, и в молодости и в зрелости написанные стихи, — не рассчитаны на сенсацию, громкий, тем более скандальный успех. Своя — ленинградская — мета у поэзии, имеющей целью более спокойное и длительное воздействие на умы и сердца (а то, что стихи без оттенка сенсационности живут дольше, хорошо известно).

Поэты меняются во времени, взрослеют, мудреют, вместе со своим «особым веком». Приходит мастерство. И кажется (только кажется!), что писать теперь легче: «становится строка исповедальной... и легкость беспо-

добная в руке, и мир подвластен музыке и метру, и буквы так наклонены в строке, как будто бы идут навстречу ветру» (В. Халупович). Читатель, конечно, не пройдет мимо этого уточнения о буквах с наклоном «навстречу ветру»: легкость, которую поэт испытывает ныне, идет не от скольжения по поверхности жизни, а как раз от преодоления ее сложностей, постижения ее противоречий.

Если с годами не остывает сердце поэта, в стихах все истинно: горе, радость, страсть; человеческий темперамент передается стихам, позволяя истинности пламенеть, а не тлеть едва-едва:

ОТЕЦ

О чем он думал здесь, командуя, и бреясь,
и смазывая ствол заласканный ТТ,
портянки просушив и теплым спиртом греясь
на выбритой в бою недавней высоте?
Пусть мне не разглядеть те дни сквозь солнца блики
и свет, рассеянный в пороховом дыму,
как он дышал, и ел, и слушал птичьих клики?
И что они пророчили ему?
Где пыльный тот блиндаж? и рыхлый тот окоп?
где мой отец в своей пилотке потной,
слегка надвинутой и скошенной на лоб,
жил жизнью (мне неведомой) пехотной?..

Здесь,
в тусклой и глубокой яме воздушного пространства
в ноябрьский день сорок второго года —
на дне ее, с сугроба на сугроб с трудом перебираясь,
у сосны высокоствольной (что жива донныне)
внезапно я его увидел.
Он в своей шинели долгополой с какой-то душой невеселой шагал.
И ветер в рукавах ее свистел. И снег хрустел сухой блокадной стужей,
и расстояние делалось все уже меж ним и мной.
Мы оба вдруг остановились в пустыне снежной тишины.
У меня под левой мышкой, как маленький зверек, зашевелилось сердце.
С криком я кинулся к нему.
Он подхватил меня и к самому лицу поднес.
Табачной крошкой от губ его пахло.
Обруч рук сдавил меня, и мой исчез испуг.
И довоенное тепло блаженства я на отцовской испытал груди.
И мы пошли вдвоем в последний раз...

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

Духовность облика? — Куда!
Я вся была — первотворенье.
Рывок, пыланье, нетерпенье,
Зрачков магнитная руда.
Не уложить тайги волос,
Не согласить лица с величием.
Общенье с музами велось
Не божьим промыслом, а личным...
(Т. Галушко. Автопортрет без зеркала)

Поразительно, как сквозь годы пронесли и
сберегли в душе поэты моего поколения не-
истребимый романтизм, даже Г. Алексеев, ко-
торый в своих верлибрах постоянно скрывал за
иронией восторженность, доверчивость, даже

он, представлявшийся порой холодноватым,
чуть рационалистичным... И вот публикация в
«Неве» (1986, № 12), оказавшаяся последней,
и там стихи про *цвет истины*, для которой из
разнообразного спектра красок он, поэт и ху-
дожник, выбирает «прозрачно-голубую, без-
мерно и бездонно голубую, как небо в солнеч-
ный осенний полдень. Да, да, как небо!»

Поэтов моего поколения не испортила, не
сбила с толку эстрадная шумиха. И поэтому им
легче выстоять теперь, когда, как говорят,
поэзию читают гораздо меньше, чем прежде, и
слушают рассеянное, когда — я цитирую
Г. Горбовского — «гулкие слова» раздаются

Меж сараев и высоких деревьев
у двухэтажного дома,
напротив окон моего детства
(нет ни дома уже, ни сараев, ни детства —
остались одни деревья),
постою немного,
не обращая внимания на прозрачные коробки
многоэтажных домов, где теперь высокая плотность
населения (на 1 кв. км — 100? 1000? 10000?)...
Она выросла гораздо больше, чем по сравнению с довоенной
на Малоохтинском кладбище,
где, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу,
лежит... вся наша Охточка,
выставив наружу бесчисленные таблички,
на которых под разными, но такими родными фамилиями,
вырубленными на камне или выписанными по металлу эмалью,
главенствует

1942
год...



НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

«в полупорожном зале» и лавина средней, серой поэтической продукции готова поглотить книги настоящих поэтов.

Не случайно в стихах того же Г. Горбовского все чаще синонимом слова «жить» становится «выстоять». Он говорит о причастности веку, в котором «выстоял, скуку дробя», — и вышел, как никогда близко, один на один с вечными, сущностными вопросами человеческого бытия. Из раздумий о сущем выветрились крупы риторики, отвлеченной красоты. Перед нами стихи поразительной силы, искренности, лирической напряженности, стихи о мужестве жить и мужестве стареть и еще — о му-

жестве устоять в суете оговоров, сладкогласных панихид недоброжелателей, завистников. Отказываясь от «удалых» метафор, от повышенной экспрессивности поэтического языка, поэт убеждает точностью «нагого» слова:

Власть суеты свелась к нулю,
дух — нежность возымел.
Сказать владычице «люблю»
я так и не посмел.

То был гордынею томим,
то мнил, что ты — не та...
Все торопился стать самим
собою... а на черта?!

* * *

С ленинградским масштабом и лебедем в Летнем саду
императорский конь пребывает, как прежде, в ладу.
Всадник мир озирает своим государевым оком.
Где волнуется воздух, не ведая сам почему,
акустический сквер для веселья души почию.
Ветки старого дерева бьют электрическим током.

Тут на славу уже постарался какой-то небесный монтер.
Света к суткам прибавил. Как будто ладонью обтер
облака да мосты. Неразъемные времени звенья.
Точно слепок бессмертья, чугунный парит монумент.
Только воздух вдыхать, ничего мне не надо взамен.
А на все остальное хватило б любви и терпенья...



Д О М

1

Где шегол средь кустов или звезд
горлопанил и радовал слух —
двор сиренью безумной зарос
под слезящимся взором старух.

Где засыпан песком водоем,
метров сто от него по прямой, —
зарастает забвением дом,
как лицо мое — черной травой.

НАТАЛЬЯ БАНК • «Власть суеты свелась к нулю...»

Теперь, когда гордины пыл
пал с сердца, как с коня, —
я не скажу, что я любил,
скажу: прости меня.
Эпохе, истине, рублю
куривший фирмам,
я не любил... Теперь люблю.
По — памяти. И — снам.

Прямая речь. Исповедь. Покаяние. Вот в чем сила, жизненность и глубокая современность этих стихов. Я процитировала одного поэта. Близкие, сходные состояния души запечатлелись в лирике других поэтов, о которых шла речь.

Эти заметки не рецензия на «коллектив» (я и назвала лишь отдельные имена), тем более не теоретическая статья. Это попытка увидеть нас самих, частицу поколения, нашими же глазами. Вероятно, противу ныне действующих правил, черты портрета выписаны недостаточно критично и даже присутствует в этом портрете искореняемая ныне «апологетика»! Может быть. Но, возвращаясь мысленно к нашей юности, я вспоминаю слова Ольги Федоровны Берггольц, сказанные на защите моей дипломной работы о ней, — слова о том, что только любовь и влюбленность рожают все лучшее в этом мире, в том числе и в работе литератора.

* * *

Ангел страха российский. Кирза гуталиновых крыл.
Ощуаю его всей своей человеческой кровью.
Попирая стопой миллионы забытых могил,
лик державный в грядущее он обращает с любовью.

Нет грехов у отчизны. У времени памяти нет!
Ночь кладет в изголовье разбухшую плаху подушки.
Да кремлевских рубинов венозный пульсирует свет.
Да когтистые птицы кричат над полями по-русски.

* * *

В монастырских владеньях, старик не старик,
отдыхает, в беседе не видя резона.
То ли вдруг закемарил, забылся на миг,
то ли смотрит на стены церквей отрешенно.

Слова лишнего молвить мужик не спешит,
будто заново русскую речь вспоминает.
Будто, кроме своей одинокой души,
никакого другого пространства не знает...



А. Рейпольский.
Петербург Блока. Тушь.

Д О В Е Р И Е

Ко мне, к разлучнице, к счастливой бестии,
Поодиночке в разные года
Входили женщины в едином бедствии,
В отчаянье, не знающем стыда.

Ждала я мести, открывая двери им,
Здоровалась, превозмогая страх,
Но женщины входили в дом с доверием,
С исповедальной жаждою в глазах.

Я не дышала, будто сердце вынуто,
И сразу — мешанина в голове.
Их только две,

Всего лишь две и было-то,
Но и попыток счастья было две...

Что вынудило женщин тех довериться?
Ужели ждали от меня добра?
Ужель была я больше, чем соперница?
Ужель казалась ближе, чем сестра?

А может быть, любовь преодолевшие,
Кляня ее за горести одни,
Меня спасти задумали они?

Из наказаний это ли не злейшее!

* * *

Студи!
Уж десять раз отшелестели
Сады — десятилетье позади.
Опять ноябрь, опять грядут метели,
Синоптики сулят мороз.
Студи!

Огонь, что вспыхнул при первой встрече,
С годами не затмился, не угас,
Судьбы повиновение овчье
Шальным желаньям
Сбило с толку нас.

Я ликовала, помню: ох и густо ж,
Да ох и весело взойдет беда!
Но лет последних выжженная пустошь
Могла ль нам померещиться тогда?

Горим, горюем, участи калечим,
Похварывая и седея врозь.
Спаси ж меня забвеньем, бессердечьем,
Студи, гаси, излечивай, морозы.

АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ

* * *

Счастливые стихов не пишут
Ни в будни, ни по выходным.
Они рождаются и дышат
Счастливым воздухом своим.

Спокойные и занятые,
Приученные ко всему,—
Им эти точки, запятые,
Им эти строчки — ни к чему.

У них иное время быта,
Иная светит им звезда.
И что прошло — то позабыто,
А что случится — не беда!

А ты, разорванный на части
Печалью, болью и стыдом,
Себе изобретаешь счастье
На трудном листике пустом.

* * *

Я с радостью стал бы героем,
Сжимая в руке копьцо.
Светилось бы там, перед строем,
Мое волевое лицо.
Раскат офицерской команды
Ловлю я во сне наугад,
Когда воспаленные гланды,
Как яблоки, в горле горят.

Я стал бы героем сражений
И умер бы в черной броне,
Когда бы иных поражений
Награда не выпала мне.
Когда бы настойчивый шепот
Уверенно мне не шептал,
Что тихий душевный мой опыт
Важней, чем сгоревший металл.

Дороже крупница печали,
Соленый кристаллик вины...
А сколько бы там ни кричали —
Лишь верные звуки слышны.
И правда не в том, чтобы с криком
Вести к потрясенью основ,
А только в сомненье великом
По поводу собственных слов.

Молчи, наблюдатель Вселенной,
Астроном божественных душ!
Для совести обыкновенной
Не грянет торжественный туш.
Она в отдалении встанет
И мокрое спрячет лицо...
Пускай там герои буянят,
Сжимая в руке копьцо.

Б Е Р Е Г

Предназначение моря — вскипать и дробиться,
предназначение берега — не уклоняться.
Отзываться шуршанием, хрустом,
перекатывать волны,
словно гирию — силач.
Волны, выбрасывающие на отмель
звезды в пупырышках.

* * *

Какая затерянность, боже!
Мы точно иголки в стогу.
Мурашки по крыше, по коже
и звезды в девичьем снегу.
Дыряв рукомойник настенный,
и, словно бы вечность, вода
по капле в набухшие вены
втекает и лжет: «Навсегда!..»

* * *

Ночь обобщает, она не подробна, как день.
Губы с губами сливает, не ведая розни.
Всё по соседству.
Ладошку доверчиво вздень —
и прикоснешься к налившимся на небе гроздьям!
Шар онемел, он от скорби и страхов просел.
Дремлют в свивальниках стали потопа и смерчи.
Долго стоим, обнявшись, на осеннем и мокром шоссе —
словно бы опроверженье разлуки и смерти.



НАТАЛИЯ КАРПОВА

СТАРОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Старого человека называла учителем,
Чтобы слово «учитель» озвучить и очеловечить,
Хотя был и брюзжащим он, и утомительным,
На бродягу похожим в рваном тулупе овечьем.
В шляпе, забывшей год своего появления,
С тростью и старым портфелем, тянущим вниз.
Как архаизм,— на глазах моего поколения
Весь его облик — до боли живой архаизм.
Старого чудака называла профессором.
Крошкой хлеба был сыт и вином золотым
Римских стихов —

то Катулла читал, то Проперция
И говорил про дороги, ведущие в Рим.
Нет его рядом — мальчишки не давятся со смеху,
Стала беднее реальность, обыденней быт.
Но так и кажется,

вот он — лицом к подлокотнику
В кресле обшарпанном дремлет, а время стоит.

ДРУГУ

Очки, глаза темнее, чем маслины,
И седина в твоей короткой стрижке.
Спортивны современные мужчины,
А ты сжигаешь жизнь свою, мальчишка.

Ты многое успел, да мало проку,
Когда в щепу ломаются ступени.
К тебе не обратится как к пророку
Надломленное наше поколение.

Вплелась травинка в воротник рубашки,
А на коленях примостилась ветка...
Ты никому не делаешь поблажки —
Дитя, судья и постоялец века.

Хотел бы ты подняться до пророка,
Да трудно и на столик опереться.
А смерть стоит у самого порога,
Давая лишь на солнышке погреться.

БАБОЧКА

Прижалась бабочка
к веселой ткани платья,
Приняв искусственный цветок
за настоящий.
О, как легко
ее могу понять я!
Вдыхаю запах корочки хрустящей

Румяных хлебов на холстах Машкова,
Цветами Катерины Белокур
Давно населены мои сады.
Но бабочка, ища цветка живого,
Уже вспорхнула.
Мальчик-балагур
Помчался вслед за ней,

Как маленький злодей.
 (В руке его качается сачок...)
 Поймает он, лохматый дурачок,
 Потом засушит бабочку в альбоме.
 Пойду и я,
 в пути напьюсь воды —
 Мне кружку даст
 крестьянка Пиромани,
 И задержусь в гостеприимном доме.

Ах, если бы узнать,
 что будет с нами!
 А впрочем,
 ничего не надо, кроме
 Того, что есть.
 Земной простор огромен.
 Не попадись, как бабочка в сачок,
 Не попадись, как рыбка на крючок,
 Не пропади, душа, за пятачок!



СЕРГЕЙ КАШИРИН

ВЗВОДНАЯ СТРОЕВАЯ

К ряду ряд — молодцеваты,
 Посмотри,
 Как чеканят шаг солдаты:
 «Ать, два, три!»

Под началом полководца-
 Удальца
 Взвод идет, и песня льется
 Без конца.

Полководец почему-то
 Хмурит бровь.
 «А про что они поют-то?»
 Про любовь!

Вскинул голову задорно:
 «Ну и ну!»
 Эй, орлы, давай повторно —
 Про войну!

Песня грянула, взлетела
 Аж в зенит.
 Полководец:

«То ли дело!» —
 Говорит.

На погонах полководца
 Алый кант.
 Кто ни глянет — улыбнется:
 «Лейтенант!»

Смотрят девушки влюбленно
 На солдат.
 «Симпатичная колонна!» —
 Говорят.

Горько матери вздыхают,
 Льнут к окну.
 Словно в бой их провожают,
 На войну.

А мальчишки вслед оравой,
 Посмотри —
 Левой-правой, левой-правой:
 «Ать, два, три!»

АНАТОЛИЙ КРАСНОВ

* * *

Все, что сказано просто,—
Не просто,
И какая же в том простота,
Что почти до Чукотки
Погосты,
Только прах,
Ни звезды,
 ни креста.
Не в каком-то далеком Непале,
А вот здесь, где души чернозем,
Мы в себе
Себя
 так закопали,
Что со стоном оттуда ползем.

* * *

Души не отдавая на потребу
Бесчестия и вредоносных сил,
Невесть когда я обратился к небу
И зренья и слуха попросил.

И грезил я и взлетом и полетом,
Сверхдальнюю таинственной звездой,
Когда отбой объявлен был по ротам
И кортиком был месяц молодой.

Неведомые различать пределы
Хотелось мне,
 неслышному внимать,
Понять, как мысль, едва покинув тело,
Стартует во вселенную опять.

И я тогда подумал, как нелепо
Безмолвие, когда молчать нет сил,
И в третий раз я обратился к небу
И голоса для жизни попросил.

* * *

Бродить среди развалин Херсонеса —
Какая грусть...

 И вечная волна,
Омыв песок и ржавое железо,
Смиряется, молчания полна.

Как бы сигналом бег ее умерен,
Она само сочувствие,
 но вдруг
В смятении опять летит на берег,
Быть может, некий замыкая круг.

Есть ритмика в ее преображенье,
В которой отражаются года...
Ее неприхотливое движенье
Мне кажется разумным иногда.

Мне кажется, программы неизвестной
Во благо нам в ней древний код сокрыт
И, отражая вещий свет небесный,
Она со мной о жизни говорит.

* * *

Твоя душа обнажена,
Среди зимы, под солнцем лета
Она болит,
 обожжена
Лучами пламени и света.
Когда, отринувший запрет,
Проходишь ты сквозь полигоны,
Не соглядатай,
 а поэт,
Носивший некогда погоны,—
Так возмущают взор и слух
Ума людского извращения,
И перехватывает дух,
И ты бежишь от искушенья
В себе жестокость возбудить...
Прочь от безумного металла...
«Умейте ближних возлюбить»,—
Седая вечность причитала.

* * *

Вручали премию тому,
Кого куда-то выдвигали,
И дружно хлопали ему,
И дружно после выпивали.

И, переполнена тоской,
Таковыми грустными очами
Спросила Муза: «Кто такой?»
Пожали ангелы плечами.

Эдема мысленный навес,
Поклон налево и направо...
А с высоты, как бы с небес,
Смотрели ангелы лукаво.

...Награды праздничный салют...
А где-то там, подспудно, бьется:
Таланта сверху не дают,
Поскольку свыше он дается.



ДОЖДИ

Глебу Семенову

Снизюшли дожди	Меж сухих стволов,
На горелый лес,	Что черным-черны...
На горелый лес	Им не видеть сны,
С грозовых небес.	Не встречать весны.

Снизюшли дожди	А последний дождь
На пустую твердь,	Нашел семечко,
На пустую твердь,	Нашел семечко,
Где гуляла смерть.	Клюнул в темечко.

Снизюшли дожди,	И раскрылась тьма,
Остудили жар,	И блеснул восток,
И прошел угар,	И мелькнул росток,
И поднялся пар.	И метнул листок.

	Молодой листок
Заструился пар,	Синевы тугой.
Невесом и тих,	А за ним другой,
Невесом и тих	А за ним другой...
Меж стволов сухих.	1977

* * *

Новая жизнь понаставила светлых коробок.
Взгляд деревянного домика влажен и робок.
Слепнут усталые окна, на стеклах морщины узором.
Может, один я и помню тот домик, в котором...

Как ты боялась на старости стать подселенкой,
Жизни чужой ты страшилась за тонкою стенкой.
Сколько повесток грозило немедленным сносом,
Сколько комиссий пугало «решенным вопросом»!..

Как эти женщины добрые из исполкома
Дружно хвалили достоинства нового дома,
Ванной тебя улещали и паровым отопленьем,
Тихо дивясь подсыхавшим у печки поленьям.

Как им понять, что не глупая вздорная сила
Здесь тебя держит. Что ты в этом доме любила.
Тут родилась ты — в том веке. А в этом, а в этом...
Лучше бы летом, ты шепчешь. Ах, лучше бы летом...

Птицы поют, заливаясь, на старом погосте.
К милому под бок пора. Надоело уж в гости.

Так ты жила со своей беззащитною тайной.
Так ты ждала той бумаги, решительной, крайней.
С четким числом, от которого не отвернуться.
Только уснуть, чтоб наутро уже не проснуться.

Ящик почтовый! На нем все сошлось и скрестилось.
Чуда не даст и не явит последнюю милость.

Средь заводского прославленного многотрубя,
Меж шестеренок, сцепивших согласные зубья,
Ты затесалась досадной песчинкою малой,
Странной старухой в печали своей одичалой.

В хоре эпохи не слышен твой голос невнятный.
Хор приглушаю, чтоб речь твоя стала понятной.

НА БАЗАРЕ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ

Я люблю этот праздник весенний
В блеске солнечной хрупкой слюды,
Тесноту малолетних растений,
Их довольные жизнью ряды.

Под прозрачною пленочкой крыши
Раздышался цветной балаган,
Громоздится все выше и выше
Многозвучный зеленый орган.

Из коробок, корзиночек, с подносов
В белом фартуке щедрый апрель
Предлагает тебе, мой философ,
Маттиолу, настурцию, хмель...

Потихоньку гуляй вдоль ограды
И товар покупать не спеши,
В окруженье цветочной рассады
Открываются почки души.

Отдыхай себе, глаз, на здоровье
На прогревом весной пяточке,
Созерцая радение вдовье
О кладбище, окне, цветнике...

Много лет читаю я стихи Александра Крестинского. Читаю всегда с радостью. Но однажды он меня напугал...

Было это двадцать лет тому назад. Просто встретились. Просто спросил: «Что пишешь?»

— Прозу. Повесть,— ответил Крестинский.

Сначала я удивился. Потом испугался: «Ну вот,— подумалось,— теряем еще одного поэта...» Терять было жалко. Прежде всего потому, что детские стихи Александра Крестинского были поэзией с большой буквы: всегда отточенные, всегда образные, чаще всего подсмотренные в жизни и осмысленные. Не только слово, но и ритмика в стихах этих «работала» на сюжет. Сюжет же всегда содержал мысль. И вдруг проза...

Ею оказалась повесть «Туся». Нежнейшее повествование о довоенном Ленинграде. Откройте ее и сразу же убедитесь сами: эту прозу писал поэт. Исчезли рифмы, но музыкальность речи сохранилась. И так же как стихи, повесть вся пронизана добротой.

Доброта, наверное, самый главный признак творчества Александра Крестинского,



М Беломлинский.
Александр Крестинский.
Дружеский шарж.

любых его произведений — поэтических и прозаических. И даже в книге «Мальчики из блокады», повествующей о времени суровом, трагическом, жестком, главным героем является опять доброта. Именно она двигала блокадным школьником Сашей Крестинским, когда он, став взрослым, начал собирать рисунки детей военных лет и создал из них (совместно с Э. Голубевой) книгу «Рисуют дети блокады». Доброта живет в его повести «Маленький Петров и капитан Колодкин». И в повести «Жизнь и мечты Ивана Моторихина».

И в повести «Жизнь и мечты Ивана Моторихина».

Что же касается поэзии, то она не ушла от Александра Крестинского. Совсем недавно она воплотилась в поэму «Рябина над полем» — многоплановое поэтическое повествование на документальном материале. Поэма эта — сплав лирики и героики, зла и добра. Знаю я и стихи Александра Крестинского, предназначенные для взрослого читателя. Надеюсь, что и они вскорости увидят свет. И по-прежнему с нетерпением жду новых стихов поэта. А может быть, и прозы...

Вольт Суслов



ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

* * *

«Жить по совести!» —
так загадали
с юных лет мы...
На том и держись!
Нарастала память с годами,
Убывала с годами
жизнь.

Кто-то, сам с собою поссорясь,
на каком-то крутом вираже
предал правду,
забыл про совесть...
И меня не слышит уже.

А кричать —
никакого резона:
коль без совести,
чем укорю?
Жизнь — конечна,
а память — бездонна.
Я об этом сейчас говорю.

* * *

Время, время,—
суть твоя сурова: о долге
души леденишь нам, просквозя. тихие и гордые слова.
...Вымолвить над гробом друга

слово
тяжело.
И не сказать нельзя!

И стоим.
И смотрим —
долго-долго.
И невольно никнет голова.

Только все же смерть
сильней, чем память,
и об этом надо знать, друзья.
Можно вспомнить.
Можно и прославить.
Только воскресить уже —
нельзя...

Всех уравниать —

значит, впасть в

заблужденье,

грех этот очень велик.

Люди равны только в акте рожденья —

в первый,

единственный миг.

вспомните, смерть!

Жизнь —
на полный оборот,
но... страшит обрыв!
...Год прошел,
как скороход,
душу опалив.

Понимаешь:
 без потерь
не бывает льгот.
Да о том ли я теперь?
Не воротишь год...



АЛЕКСАНДР КУШНЕР

* * *

Жизнь прихлала на смутную эпоху.
Эту мглу всегдашнюю и тень,
Скрягу эту, лгунью, выпивоху
Все бранят теперь, кому не лень.

И смотри, едва ль не всех бойчее,
Отряхнув недавнее жите
И высоким гневом пламенея,
Те кричат, кто славили ее.

Что же делать? Голос в общем хоре
Твой не слышен... Или не велит

Надрываться въевшееся горе,
Честь твоя продрогшая и стыд?

Или ты любви предать не хочешь,
С тенью той совпавшей и тоской,
И стихов, и, словно шлейф, волочишь
Тот позор ославленный, как свой?

Иль, сто раз в земле обетованной
Побывав душой, пока ковчег
Шел, кренясь, громоздкий, многогранный,
Страшный свой забыть не хочешь век?

* * *

На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас взиравшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли?

Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей, с неровными краями,
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмью, яркими, как птичий свист, долями!

Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.

Марш — в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, «Свадьбу Фигаро» забыв и всю бравату.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.

Тс-с... Где-то музыка играет... Где? В саду?
Где? В ссылке, может быть... Где? В комнате, в трактире,
На плечи детские свои взвалив беду,
И парки венские, и хвойный лес Сибири.

* * *

Ты не права — тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой,— ничто не в помощь ей.

Неутолимое страданье
В глазах — и логика, тем четче и стройней,
Что вся построена на ложном основанье.

Постройка шаткая возведена тоской
И болью — высится, бесслезная громада.
Прижмись щекой
К ней, уступи во всем, проси забыть — так надо.

Лишь поцелуями — нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием — добиться
Прощенья можем мы. О, дочери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла б страница
Помочь волшебная, все знающая,— жаль,
Что нет заветной под рукою.
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековой.

* * *

Грубый запах садовой крапивы.
Обожглись? Ничего. Терпеливы
Все мы в северном нашем краю.
Как султаны ее прихотливы!
Как колышутся в пешем строю!

Вот она, наша память и слава.
Не хотите ее? Вам — направо,
Нам — налево. Ползучий налет,
Непролазная боль и отрава.
Лавр, простите, у нас не растет.

Помню садик тенистый, лицейский,
Сладкий запах, как будто летейский.
Неужели крапива? Увы.
Острый, жгучий, горячий, злодейский,
Пыльный дух подзаборной травы.

Непреклонна, угрюма, пушиста.
Что там розы у ног лицейста?
Принесли их — они и лежат...
Как труба за спиною флейтиста:
Гуще, жарче ее аромат.



ПЛАЧ ПО ВАСИЛЬЕВУ ПАВЛУ

Земля после дождика клевером пахла
В ладонях рассвета...
Не стало поэта Васильева Павла,
Не стало поэта.
Такая трагичная выпала доля...
А голос был звонок!
Великого хлебного русского поля
Погиб жаворонок.
Как пел он? Без устали: в днях ли, ночах ли,
В темный и рассветы.
Его ненавдя, от зависти чахли
Плохие поэты.

За строки Васильеву Павлу не стыдно —
Густые, как солод!
Погиб он обидно, талантлив завидно,
Как Лермонтов молод...
Заря золотила березам запястья,
Как будто браслеты,
И плакали, но не от горя — от счастья! —
Плохие поэты,
У коих и кровь холодна, как медуза,
Строф дряблые вены.
...Рыдает светлейшая женщина — муза:
«Прощай, незабвенный...»

В О Р О Н

Белый сугроб розоват от зари,
Сочен, как сало.
Сколько ветвей снеголомом, смотри,
Поразбросало:

Ночью космато камлала пурга,
Словно дикарка!
Ворон молчком озирает снега —
Знать, не до карка:

Думал пернатый про смысл бытия
Всячески ныне...
Ворона в марте и высмотрел я
Тут, на чистине,—

Нет, не промолвит он мне ничего,
Важно-забавен!
Может быть, видел Суворов его
Или Державин?

...Липко по внешним стволам сосняков
Хлынет живица...

Ворон, свидетель минувших веков,
Вещая птица!

Вольный, не сбитый разящей стрелой
По-над живицей,
Бойко сияя над медленной мглой,
Был он жар-птицей,

Плавным теченьем веков умудрен,
Молча, не в злобе,
Перегорел и обуглился он
Здесь, на сугробе.

Вот я шагну и руками возьму
Врана не скрытно:
Вдруг да в неволю охота ему —
В клетку, где сытно?

Хрустнула ветка — он, стар, грузнотел,
К зову раздолья
Мощно и молодо в небо взлетел...
Вольному — воля!

ВЕТРЕНИЦА

Что за ветреница
впереди?
Шаг прибавлю —
она впереди.
Я бегом —
а она впереди.
Я кругом —
она все впереди!..
«Эй, товарищ,
сходи погляди,

что за бестия там,
впереди!..»

Возвращается он
через год,
улыбается он
во весь рот —
загорелый, под глазом фингал...
«Извини,— говорит,—
не догнал!..»

КРАСНЫЙ АНГЕЛ

Ю. Паркаеву

Поперек ручья — доска.
Поперек житья — тоска...
Чмокнет пуля на прощанье
в лоб Ивашку-дурака.
Извини, мол, друг Ванек,
в поцелуйчике намек:
пора в дальнюю дорогу
собираться, паренек!..
Начнет Ванька помирать,
пойдет транспорт выбирать,
всевозможны варианты
на ходу перебирать.
Плывут щепки по реке.
Пуля брякает в башке...

А над родиной-Россией
кружит сокол в высье.
Плюнет Ванька, скажет так:
«До чего трешить чердак!
То ли жив я, то ли помер —
не смекну, братья, никак...»
Кликнет Ванька сокола:
«От винта!» — и все дела.
Полетит туда, где прежде
его матанечка ждала.
Поперек земли — вражда.
Догорают города.
Вьется ангел убиенный,
во лбу — красная звезда.

* * *

Когда хоронили отца,
гарнизонный оркестр,
кромсая весну литаврами,
вытоптал отцовскую клубнику.
Взвод почетного караула.
из соседнего стройбата
поломал отцовскую смородину,
опрокинул чужую оградку на кладбище
и, трижды пальнув холостыми,
отбыл в сторону
неизбежной демобилизации.

А сад так и не оправился:
завял,
захирел,
засох,
затосковал по отцовской заботе.
А осенью,
выждав попутный ветер,
отряхнулся от птиц и листвы,
как армия от уволенных в запас,
и, привстав на цыпочки,
замер в ожидании снега.

ЗЛАЯ ДЕВОЧКА

Злая девочка за стеной
не желает дружить со мной.
В стенку мячиком звонким лупит
злая девочка за стеной.
Не здороваются со мной
проживающая за стеной,
когда мы через двор под ручку
на прогулку идем с женой.
Пройдем мимо — и в тот же миг
злая девочка злой язык
нам вдогонку покажет и плюнет,
и подружку толкнет, и в крик!
Говорю ей под Новый год:
«Хорошо твоя птичка поет».

Так она на мороз канарейку
в фортку выпустила и ревет...
Вдруг звонит. Открываю:
«Привет» —
«Это ты ведь мой папа?» —
«Н-нет...»
Шепчет девочка:
«Извините...» —
«Ничего», — бормочу я в ответ.
...Всю-то ночь напролет мело,
бился мокрый снег о стекло,
словно там, за окном, канарейки
все просились ко мне,
в тепло.

ДАР

«...Он в рифму врет!» —
расслышал я обрывок
чужих речей в толпе средь бела дня.
И некто в черном
ткнул меня в загривок,
и некто в белом
подхватил меня
и руку мне железной дланью стиснул.
«Зри! — он сказал. —
Вот пьянь,
а вот — народ.
Вот — флаг,
вот — враг,
вот — рак на Ржевке свистнул.
А тот, четвертый слева, — идиот...»

О, божий дар, давно забытый нами,
все называть своими именами,
ладошкою ротка
не прикрывать
и ничего ни с чем
не рифмовать.

РУССКАЯ СКАЗКА

Отчего печален облик
девицы на башне?

Кем разрыв-трава примята?
Сивкой-Буркой, что ли?

Ищу ответ, ищу отклик,
ищу день вчерашний...

Ищу друга, ищу брата,
ищу... ветра в поле.

ЗАГРЕЗИЛ Я ТАЙГОЙ

Вот зовется женщина южанкой,
а такой увенчана ушанкой,
уж такой сибирской,
уж такой,
что воспринимаются иначе
все мои охотничьи удачи,
и опять загрезил я тайгой.
Стороной,
что в неумолчном гаме
отозвалась первыми стихами,
им отдав мелодию свою,
что меня поила
и кормила,
и по-матерински не корила
за несостоятельность мою...
Я по зимним трассам колесил!..
Ах, тайга, тайга — родная сила!..
А какие шапки ты носила,
а какие шапки я носил!..
Пошумим, тайга,
пошелестим,
мы еще не превратились в дым!
Пошумим,
покуда светит высь,
корни держат нас
и весны любви,
пошумим,
покуда лесорубы,
те,
что свалят нас,
не родились!..

Р Ы С Ь

Мне не забыть
на дальней стезе
моих скитальческих годов
зеленых глаз таежной кошки
на фоне сумрачных кустов.
Ее прыжок, и рык, и ярость,
и беглых залпов череду...

Мою смертельную усталость —
ее последнюю беду.
Три раза эхо прокатилось
и трижды за реку ушло...
Тайга молчала,
сердце билось
растерянно и тяжело...

ИЗ ЦИКЛА «БЕЛОЙ НОЧЬЮ»

1

Л. В. Крутиковой

За себя я не умею драться,
Мне по сердцу мирное житье.
Научилась в травах разбираться
И варить целебное питье.

Облегчать ушибы и ожоги,
Усмирять неведомую боль...
Не топчите майник при дороге,
Не зовите пьяным гоноболь.

Словно мира два соединяя,
Травы много ведают о нас,

И шуршит система корневая,
Сохраняя дивных сил запас.

Говорю и другу, и подруге:
«Что в кармане серебро да медь?
Лучше там, в неведомой округе,
Для себя товарища иметь.

Чаша эта никого не минет,
Все придем, смирив земную боль...»
И вздохнет кусачая крапива,
И обронит слезы гоноболь.

2. Э П И Л О Г

Федору Абрамову

А может, дождя не будет?
И туча пройдет стороною,
И сено в полях просохнет,
И в копны смечут его.

А может, мороз не ударит?
И птицы с отлетом успеют,
Чтоб в марте домой вернуться
И новую петь весну.

А может, ссоры не будет
У парня с этой девчонкой?

Два профиля на занавеске
Не могут разнять уста.

А может, войны не будет?
Дома не взлетят на воздух,
И пепел сады не скроет,
И яблони зацветут.

А может, болезни и старость,
Услышав, что счастье в доме,
С дороги своей сойдутся,
Отстанут на полпути?



АЛЕКСАНДР МОРЕВ

(1934—1979)

* * *

Он пришел с войны,
ночью лег на кровать,
лег он подле своей жены.
Надо было где-то смертельно устать,
чтоб с женою молчать,
чтоб жену не ласкать,—
нужно было мертвецки устать.
О, какой был покой простыней и перин!
О, какой был покой —
как у снежных долин,
когда в соснах плывет луна!
Только
ночью проснулась жена:
т и ш и н а ...
Тронула стену — стена холодна.
Мужа нет,
снова нет.
Снова — одна.
На пол крест положила луна.
Он бежал от пикейных больших одеял,
он бежал от жены, как из плена бежал!
Дом ему — как блиндаж, как вокзал.
Он лежал на полу у дверей в углу,
Он, накрывшись солдатской шинелью, спал,
и во сне он жену целовал...

Неоконченная беседа

*Л*исты с пепелища» — так назвал свою неизданную, к тому же единственную книгу стихов поэт и художник Александр Морев.

Он жил на Васильевском острове.

И в голодные мальчишеские дни ленинградской блокады, и в солнечные послевоенные годы, учась в Средней художественной школе, что располагалась наверху знаменитого здания Академии художеств на Неве, и все последующие годы, когда писал яркие, взрывные, в

смелых мазках живописца стихи свои... жил на Васильевском острове. И на этом же острове умер. Совсем еще недавно, как будто бы... Остров на острове. Круг этот, кольцо любимого острова не разомкнулось, не отпустило его от себя.

У меня дома висит «Портрет крестьянина». Работа А. Морева пятидесятих годов. Бревна избы выкрасило солнце. Не сплошь, а в одном месте скользнул благословенный свет и ожи-

Мне кажется, что я уснул давно.

Я сплю и вижу сон:

вот вы сидите,

и вечер на дворе, и темное окно,
и на меня вы как в себя глядите.

А я — луна. А за луной темно.

Так в чем же свет?

В волнении свечи?

И в чем мое значенье?

В светлом слове?

Которое неуловимо, словно
на ряби моря лунные лучи?

В поля протопал босоногий ангел.

Трава легла и встала горячо.

Он поднимался медленно, кругами,
пронесся отрешенно над полями,
чуть накрывая правое плечо.

Так травы распрямляются в воде,
тела свои расправив по теченью.

Так все полно стремлением к беде.

И присяганье клонит к отреченью.

ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

I

Я принял блокадной стужи холод,
я видел мертвый морга покой,
меня, как волка, воспитывал голод,
и смерть, как мать, звала за собой!

II

Над головой ночное небо синее,
внизу бледнеет гаснущий закат.
Но в дне прошедшем было столько силы,
что кажется: вот-вот вернется он назад!

Неоконченная беседа

вил не только мерклое дерево сруба, но и лицо
доброе, даже веселого старика с золотым
колечком на грубом, бугристом пальце. Руки
крестьянина лежат на коленях, и сам он весь
смотрит негрустно куда-то... не в даль, а как бы
в лицо близкой Жизни. Именно жизни, не
смерти. Беседа с жизнью.

Беседы Александра Морева с жизнью на
языке стихов не отличались умиротворен-
ностью и покоем, стихи его чаще кричали, пла-
кали, пели. Ибо чаще всего — не находили
выхода: из груди, из тетради, из подполья
одиночества. А к мирной беседе он стремился.

В живописи, в неторопливой прозе последних
лет. К беседе с природой, людьми, миром. И
почти ничего не успел обнародовать. Вместо
диалога получился... глас вопиющего в пус-
тыне. Пришла пора исправить дело, устранить
печаль поэта хотя бы посмертно.

Многое нравилось в Мореве его друзьям.
Его страстная любовь к искусству, к людям.
Мы любили стихи Саши Морева, его поэзию.
Мы помним его улыбку. Мы слышим отголоски
его беседы с судьбой.

Глеб Горбовский

* * *

В перчатках белых дождь —
ведь это снег...
В зеленом маскхалате лес —
весна...
О, как необозрим, причудлив свет
над хрупкой, тонкой лопастью весла!
И взмах, и новый взмах от тех плотин,
в которых рвется сердце из груди!
И снова поиск слов на полпути,
чтоб эту грань покоя перейти...

И даже ночь да будет для меня —
всегда вот так,
всегда на грани дня.



Б. Комаров
Ленинград. 1942.

ПАВОДОК

Забулькал ручей, засвистали скворцы,
на озере треснули льдины.
У старой избы запотели венцы,
в полях обсыхают овины.
И звоном пилы оглашается двор,
теплит парники огородник.
Зеркально сверкает на солнце топор,
и лыбится солнышку плотник.
Как быстро весна набирает разбег,
травой обрастают обрывы.
Все тоньше и тоньше синеющий снег,
все шире овражные лывы.
Повсюду весенней воды перезвень,
светлее не видел картины!
Забрызганы синью глаза деревень.
И ветром распахнут блистающий день.
И дрогнули донные льдины.

КУСТ СИРЕНИ

Как он сияет изнутри,
горит без передышки!
Пред ним тускнеют фонари,
неоновые вспышки.
Фосфоресцирует роса,
и тяжелеют грозди.
Вчера над ним прошла гроза —
дождь попросился в гости!
А раным-рано поутру
свистел скворец на ветке.
О куст, живешь ты на ветру,
а я в бетонной клетке.
Увянешь — осень впереди...
Твои не вечны чары.
Упругой веткой отведи
слепой судьбы удары.

Они придут — жара и град
с ревущими ветрами.
И небеса заговорят
разящими громами.
Все будет так, как в той судьбе,
где счастье стало мукой.
И я заранее тебе
протягиваю руку.
Когда был мрак в моем окне,
а солнца блески — редки,
лишь ты один тянул ко мне
ликующие ветки.
И жизнь вся виделась моя,
до смертного предела.
И в дымных безднах бытия
туманно лиловела.

* * *

Чёрно. Я жду отчаянно:
Ни снега,

ни метели...

Куда же вы отчалили?

Куда ж вы улетели?

Опять во тьме кудахтать мне
И у окна маячить:

Где дети?

Все в трудах они —

Пустой почтовый ящик.

Тревога ходит гоголем,
Стучится клювом в рамы.

Черным-черны Чернобыля

Залатанные раны.

Не надо было б и латать,

Когда б не безразличие...

И вновь вопрос встает, как тать:

Всё о своем, о личном.

Как охраняем землю мы,

Как бережем богатства? —

Что даже снега средь зимы

Порою не дожждаться.

Где снег?

Сейчас растает ночь.

Сейчас! — под небом блеклым...

Но лишь декабрьский длинный дождь

Все льнет

к озябшим стеклам.

* * *

Лёне Алексееву

Голубые во ржи васильки.

От жары голубые,

От ветра...

Довоенного лета силки.

Позовешь —

Нет ответа.

А попробуй те дни отсеки —

Всполохнутся,

Дотронешься еле...

Отгорели во ржи васильки.

Поседали.

Побелели.



ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ

А ЖЕНЩИНЫ ТАНЦУЮТ...

На мокрой танцплощадке,
На выщербленных плитах
Распластанные листья,
Как лодки на песке.
И женщины, под звуки
Мелодий позабытых,
Танцуют в межсезонье
В курортном городке.

Немодна их одежда,
Немолоды их лица,
И седина у каждой
Поземкой по виску.
Как часто бьется сердце,
Как трудно им кружиться,
Как много им досталось
Заботы на веку.

...А женщины танцуют
Легко, самозабвенно,
Сквозь лиственную вьюгу
Скользят нанскосок.

Им чудится площадка
Поры послевоенной,
Усталой радиолы
Простуженный басок.

А женщины танцуют,
Как в юности, бывало:
Смеются, напевая,
И шепчутся тайком.
И давние мотивы
Их ситцевого бала
Счастливо и прощально
Звучат над городком.

Уже зажглись огнями
Причалы городские,
И капли дождевые
По кофточкам стучат,
А женщины танцуют,
Красивые такие,
Такие молодые,
Как сорок лет назад...

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

На иглы сосен, точно позолота,
Медовой росой заря легла.
Родительская чистая суббота
Светлым-светла.

Еще лежит, не тая, вдоль обочин
Темнеющий засахаренный снег,
Но рвется к солнцу из подземной ночи
Любой побег.

Лес засветился зеленью отрадной,
Из мшистой кочки вылез первоцвет.
И даже за кладбищенской оградой
Печали нет.

Над темными поникшими крестами,
В березах, в их проснувшихся ветвях,
Щебечут, вьются, суетятся стаи
Веселых птах.

А синева, как ливень, с небосвода
Сверкающей завесой — до земли!
Так поминает вечная природа
Тех, что ушли.

Отпели, отлюбили, отгрустили,
Оставив жизнь и землю молодым,
И все обиды тихо нам простили,
Как мы детей когда-нибудь простим.

ГАЛИНА НОВИЦКАЯ

* * *

Словно свежая рана, Окровавлен восход. Ни стрелы, ни Ивана. А лягушка все ждет...	Ничего нет страшнее — Век в болоте прожить. От тоски зеленеет Лягушка в глуши. Все глядит на опушку, А там — ни души!
Не царевной — любимой Ей хотелось бы быть...	

* * *

Кому Душа подчинена, Кто в ней Ревизию наводит? И кто растрату В ней находит, И какова ее цена?	Кому Душа подчинена? И почему Ей служит тело, Изнемогая До предела, Пока не вылетит она?
---	--



ИГОРЬ ОЗИМОВ

ПАМЯТЬ

Тихий, чистый городок. Желтый лист с берез слетает. Старый дворник, сбившись с ног, Подметает, подметает...	С генералом молодым В центре сквера спят солдаты. Дворник желтую метель Осторожно с плит сметает, Словно сползшую шинель На уснувших поправляет...
Тонкой струйкой вьется дым. Плиты черные покаты.	

ПАМЯТИ ГЛЕБА ПАГИРЕВА

На камне, средь листьев опавших,
Ни дат, ни фамилии нет.
Одно только слово — «Наташе» —
Глядит сиротливо на свет.

А тот, кто пред ним одиноко
Стоял на одном костыле,—
Теперь по прошествии срока
Поконлся в той же земле.

Зачем он, по прихоти странной,
Вспугнув любопытных синиц,
Оставил ее безымянной
Среди именованных лиц?

Затем, что и здесь не смирился,
И горестно помнил о ней,
И с вечностью не поделился
Безмерной любовью своей.

* * *

Дом-интернат для престарелых,
В ночном саду, в сугробах белых,
Со вздохом-стоном за дверьми
Укрывшихся от одиночеств,
От злых соседей, их пророчеств,
Или оставленных детьми.

Дом-интернат воспоминаний,
Дом невеселых ожиданий
По воскресеньям редких встреч,

Где всем — посильная работа,
Дом с личной кружкой для компота,
И все же не об этом речь.

Дом-интернат для всех скорбящих,
Болящих, по ночам не спящих,
Молящих: «Хоть бы ветер стих!»
Всех тех, чье горе не избудешь,—
Их нет, коль ты о них забудешь,
Они с тобой, коль помнишь их.

ЭМИЛЬДА ПАНКУЛЬ

* * *

Крадется осень по лесам,
Хватает за ступни.
Как невезенья полоса,
Ее прозрачны дни.
Как невезенья полоса,
Всего не угадать,

А широко раскрыв глаза,
Оцепенеть и ждать.
И как осенняя листва,
На волоске едва,
И как осенняя листва,
Отшелестит молва.

* * *

И пальцем не двину —
Пусть рушится,
Отбой, говорю, отбой!
Душа моя только, двурушница,
Побродит еще за тобой.
И нечего больше загадывать,
Ей, видимо, так суждено.

Закаты мои, закаты —
Малиновое сукно...
И в ношенных серых жилетах,
Наохлившись на ветру,
Жалейте меня, жалейте,
Воробушки поутру.

* * *

Я Новый год недавно праздновал.
Мы стол накрыли, как в лесу.
Лишь килечка посолоа пряного
да эта, как там... путассу.
Жена смотрела чуть сконфуженно.
А чем могла она помочь?
Беднее будничного ужина
наш стол смотрелся в эту ночь.
Когда часы двенадцать пикали,
я хлеб под кильку нарезал.
Поднялся тут дружок мой,
питерский,
и тост взволнованный сказал:
«Вот, говорят, эпоха качества...
Я кровью слит с моей страной.
Меня верховные чудачества
всю жизнь обходят стороной.
Пока преклонные величества
златят друг другу ордена,
давайте думать
про количество,
как и в былые времена...»
1981

ПОСЛЕ АНТРАКТА

Вновь на сцену вышел запевала.
Пальцы приложил к вискам седым.
Жизнь прошла за время интервала
между первым актом и вторым.

Он сейчас блеснет своим умением
краски мира облекать в слова.
Тридцать лет... Какое, к черту, пенье!
Жизнь прошла...

* * *

Прожил я эпоху безвре́мья.
А потом — трагедию застоя.
Все мое кривое поколенье
знает правило простое:

растворись, исчезни в многоликой
массе. Лишь своим дыханьем грейся.
И уж коль попал — так не чирикай.
Затаись. Терпи. Надейся.

В жизнь входили молча и степенно.
Понимали: горе — от ума.

Ждали — кто разроет постепенно
залежи вторичного дерьма?

Хоть бы уж закон открыли, что ли,
мудрые ученые столпы:
каждый поворот — по чей-то воле,
а не от прозрения толпы.

Жизнь звала гнилую воду — соком,
лозунгом пройдясь по головам...
Вот откуда в нас ко всем высоким
легкое презрение
к словам...

* * *

Словно тонкий такой аппаратик
показал мне японский фирмач:
я дышу, как спасенный астматик,
слышу все и по-новому зряч;

сквозь реальность другую реальность
наблюдаю при помощи сна,
навожу окуляры на дальность
и мираж поднимаю со дна...

Исчезают бывшие запреты.
Разрешается то, что нельзя.

В обе стороны лета и Леты
я как будто скольжу, не скользя.

Но двойник моего зазеркалья
так насмешлив, печален и смел...
Кто он, праведник или каналья,
я опять разгадать не сумел.

Пограничность его положения
объяснима при помощи сна.
Продолженья ищю, продолженья
в эти двойственные времена...

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ «ПЕТР И АЛЕКСЕЙ»

Петра, Петру, Петром, Петрово —
трубит в ушах уже с утра.
Меня преображает слово,
не я его... Давно пора.

Пирую над пустой страницей
и над пустующей Невой
в тиши ночной и многолицей.
Чужое время. Сам не свой.

Припал к запрошлomu столетью
преображенный Петербург.
Царевич мается под плетью.
Не я, а город — драматург.

Но кто, бесправно обнаружась,
вошел в состав его семьи?
Зачем любовь и смертный ужас
уже мои, мои, мои?..

В ПАРКЕ

Все отрезано этим продуманным, избранным браком,
этой засухой летней и долгою женской больницей.
Здесь понятно деревьям, кустам и культурным собакам,
что вот эта красавица более не раздвоится.

Начитавшись «Онегина», скромную юбку огладив,
задержавшись большими глазами на детской коляске,
подойдет она с мужем к открытой на лето эстраде
и внезапно припомнит о тайной и бешеной ласке.

Так, судьбой овладев и собой до конца не владея,
затекает затейница с жизнью недетские игры.
Забывает, забудет, забудет, забыла злодея!
Что же это за хохот и что за колючие искры?..

Как кошка бесхозная жметя к ноге,
меня на добро испытая,
строка выгибается к верхней строке,
почувствовав родственный нрав.

Как кошка зайчатой раскраски пришла
к бессонной полоске двери,

так слабые сгустки живого тепла
толкают в плечо: «Отвори!»

Кусок поделить да водой напоить,
Живой помогает живым.

И правила знаем. И некогда жить.
Чего ж на пороге стоим?..

ИРЭНА СЕРГЕЕВА

З В У К И Ж И З Н И

Снова мусорщик бьет в колотушку
и машины жужжат под окном.
Зарываться поглубже в подушку?
Наполняться молчаньем и сном?

Но молчанье и смерть однозначны.
Звуки жизни—иное вино:
так тягучи, могучи, прозрачны
и пока что со мной заодно.

Г Н Е З Д О

Кутаиси! Кутаиси!
Помню твой приют...
А у нас в валдайской выси
жаворонки поют,
где гнездо старинных предков
создано трудом,
где — хотя бываю редко —
все равно мой дом...
Кутаиси! Капля страха
есть в любви всегда:
как там птаха,
мальчик Каха,
скоро ль из гнезда?

Д О Ч Е Р Н Е Е

Столько с тобою связано,
сказано-пересказано,
выплакано и праздновано,
сызнова болью названо.

Новая боль всеночная,
дочерняя, бессрочная —
болью твоей и старостью
жалит мне сердце жалостью.

ЮРИЙ СКОРОДУМОВ

МАТРЕШКА

1

Ничего досель не славил,
Кроме сосен и берез.
Надо мною полдень ставил
Солнца желтого кокос.

Не мадонна, не матрона,
А нехитрая игра,
Синеглазая Матрена,
Русских девушек сестра.

За морями, за горами,
В той далекой стороне
Я одаривал дарами
Всех, кто с миром шел ко мне.

Не богиня, не рабыня,
В светлом платье цветном,
А береза и рябина
Под родным моим окном.

И была со мной гармошка
На серебряном ладу.
И была со мной матрешка
Золотая, как в меду.

Мне чужбина — не чужбина,
Честно делу послужу.
Не сложу я карабина,
Лучше голову сложу.

2

Ночь темна, глухое время,
Спит погонщик, мул уснул.
Чуть позванивает в стремя
В карауле караул.

Положу щеку на ложе,
На любезный карабин.

У причала дремлют шлюпки,
Якоря сосет река,
Улеглись, попрятав трубки,
Джентльмены табака.

Ты приснись мне, Коломбина,
Мне глаза твои нужны,
Хоть вернее карабина
Не найдешь сейчас жены.

На земле раскину ложе
Я под пальмою один,

За рекою темень джунглей,
Не дрожит звезда в реке.
В карауле караульный
Держит палец на курке.

3

Голубое небо ярко,
Синева стоит стеной.
Негритянка-санитарка
Наклонилась надо мной.

Негритянка Коломбина,
Медицинская сестра.

Не мадонна, не матрона,
Не дитя — рабыни дочь
Синеглазая Матрена,
Только черная, как ночь.

Я смотрю ей прямо в очи,
Васильки во спелой ржи,—
Полыхали среди ночи
Голубые мятежи.

Не богиня, не рабыня,
Что приснилась не вчера,—

Коломбина, дай ладошку,
Далеко моя страна.
Я привез тебе матрешку
Золотую — вот она!

НОННА СЛЕПАКОВА

СЕМЕЙНАЯ БАЛЛАДА

Вот бабушка с мамой догнали отца:
Он так обогнал их, отец-то!
Уселись за стол и сидят без конца —
Они собрались наконец-то!
Меня с ними нету, я где-то в пути,
Меж тем как у них Новый год без пяти,
Тот Новый, который, конечно,
Теперь ими выбран навечно.

С давнишней помойки впорхнул абажур —
С кистями, воланом, каркасом.
Иссохшие кости обглоданных кур
Воспряли, обросшие мясом.

Возник из осколков парадный сервиз
С добротным парадным продуктом.
Сложившись из пепла, на стенке повис,
Шурша чернотой, репродуктор.

Ударила полночь — с гудками Москвы,
С дыханием дали и шири.
И смолкли часы — перед речью главы
Всего, что есть главного в мире.

И молвил мой папа: «Вот если б сейчас
Сказал бы он громко: «Приветствую вас,
Простая семья Слепаковых!
Желаю вам радостей новых!»
Сказал бы — а там, не пройдет и двух дней,
А мы уже в новой квартире!»
А бабушка тихо: «В отдельной. В своей.
Три комнаты, даже четыре!»
А мама в ответ: «Паровое и газ!
Стиральная в ванной машина!
Ну что ему стоит! Лишь несколько фраз!..
Да если б случилось такое у нас,
И дочка бы к нам поспешила!»

СУДЬБА

На Стрелке, в компании дружной,	Вопросы решала с размаха
Приплясывал шарик воздушный	И трудности хрумкала с хрустом.
На нитке натянутой, струнной,	
В руках у работницы юной.	А гадов ползучих, матерых,
	И всяких там прочих, которых,—
Фабричная эта деваха	Давила, да так, что трещало,
С ядреным, напористым бюстом	Но это ее не смущало...

С утра, запалив керосинку,
Она надевала косынку
Пунцовую — и напевала,
Кудрявая чтобы вставала.

Ее керосинка чадила.
Под мышками блуза горела.
Она и себя не щадила,
Не только других не жалела.

За что же тогда ей досталась —
Была, значит, в чем-то промашка! —

Подробная, долгая старость,
Ее разрушавшая тяжело?..

Она дотлевала огарком,
Иссохшая, вся в метастазах,
Совала рубли санитаркам,
Чтоб вовремя подали тазик...

А праздничный шарик воздушный,
Опавший и больше ненужный,
Слегка колыхался над нею,
Над бедной хозяйкой своею.

САХАРНАЯ ПУДРА

У нас в муке — кладбищенская глина,
В начинке — кровь, и ржавчина, и смрад.
Но сладостная пудра ванилина,
Изюминка, коричинка, цукат,
Людской, патриархальный аромат —
Чудесною рождественскою шапкой
Обожествят поверхность пирога,
И потянусь чернильной потной лапкой,
И будет мне кружок или дуга.

И зазвучит дозволенным уютом
Утесовский мембранный хрипоток,
И девушки неведомым маршрутом
На Дальний устремятся на Восток.

В Центральном парке музыка взывает,
И вырастет на грядке резеда.
Над кем, над кем там черный ворон грает?
Над кем-то, не над нами, не беда.

У нас — как у людей: еда готова,
И человечно пахнет ванилин,
И Волга-мать, как Любовь Орлова,
Щебечет, пробегая средь долин.

Мы счастливы: ни сна у нас, ни чоха,
И нет на нас ни бога, ни врага,
И детским языком своим эпоха
Облизывает пудру с пирога.

ЖАЛЕЙКА

Умывают руки	Очнется простое мычание коров.
на рассвете.	Дедушка, подари мне жалейку.
Расстреливают тоже	Тревожно увяданье карусели.
на рассвете.	Сломай смычок, но не исчезнет Моцарт.
А на сиреневых румбах Вселенной	И на рассвете нестерпимо жаль
Взрослеет смех,	В зубах корон задушенные звезды.
Перекошенный	Дедушка,
по прихоти Эйнштейна.	подари мне жалейку,
Корни над обрывом	И на сиреневых румбах Вселенной
в царапинах сквозняка.	Встретятся люди
И медленно приходит пробужденье	Доверчивые,
В зеленой чаше яда и любви.	как пчелы в твоей бороде.
Дедушка,	Дедушка,
подари мне жалейку,	подари мне жалейку
И на сиреневых румбах Вселенной	на рассвете.

* * *

Когда я вдруг пропал	И я в живую бездну света
и ожил	Нырнул с восторженностью лютый.
В кругу прощанья и прощенья,	О, жизнь моя!
То выступила кровь на коже	О, куру-кшетра!
От страха	Пусть острие стрелы Арджуны
И самозабвенья.	Пронзит живую песню ветра,
Как бы на атомы разъятый,	Но песня вечно будет юной.
Я небеса собой заполнил.	Нет смерти!
Сиял сознанием каждый атом	Нет!
И о земле заветной помнил,	Я слышал песни
Где северный и южный полюс	Глубокие,
Теперь в моей веселой власти,	Как гром небесный!
Где я в траве стоял по пояс	Ты тоже станешь песней,
С тугим браслетом на запястье;	Если
Где ночью сутры Патанджали	Не убоишься в сердце бездны
Таинственно коснулись уха,	И будешь пристальной
Где кони замерли и ждали	и строже
Лишь знака огненного духа.	Смотреть в скользящие мгновенья.
Знак был — и вздрогнула планета,	Пусть выступает кровь на коже
И скакуны порвали пути,	От страха и самозабвенья.

ВИКТОР СОСНОРА

* * *

Я лишь просил: не нужно! не удержим!
не разбивайся, жена, о талант!
не отнимай последнюю надежду! —
Не отняла.

О, отступись! — просил. Ты отпустила.
Отдай в ответы даты! — Отдала.
Не мсти хоть за спасибо! — не отмстила.
Оберегла.

Увел тебя у воли твой Сусанин.
Ничье бесчестье не звучит за мной.
Хлеб-соль хорош. Что ни с людьми —
с сердцами.
Земля — землей.

Я пью вино, отпущенник в тиаре,
пишу на Лире, в пульсе быстрота,
как будто басни, а не бестиарий...
Как без тебя.

Нужна ли нежность? Мало ли могли мы
о двух руках, о трех перстнях сребра?
Как без тебя мне, милая, в могиле! —
Как без себя!

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Десять книг,
да в степи,
да в седле,
десять шей и ножей отвидал.
«Подари мне еще десять лет», —
отписал.
Ты семнадцать отдал.

Отнял степь,
да седло,
да жену.
Книги вервьем связал. Не листал.
Отъял шеи —
оставил одну.
Ночью таинств и ламп не лишил.

Что мне делать с ней, шеей, с ножом?
Я не раб,
я не враг,
бой не бью.

Бог с Тобой, если Именем — нам:
отдал — отъял и...
Благодарю.

Где ж я был? — В сталактитах упал?
Чрез семнадцать вернулся. Я — тот.
Те ж народы... Никто не узнал.
Для ВЕРХОВНОГО ЧАСА — никто.

Те дары не расплавлю кольцом.
Не жалею у ножа,
ожидай.
Дай два ока — закроюсь лицом.
Если
 есть
 во мне,—
не оживляй.

Дай два Огня,
 два Зверя,
 два Дня.

Две волны,
 двойню губ
 да весло.
Не удваивай в Доме меня.
Забирай под забралом,—
и все.

З А К Л И Н А Н И Е

Ты еще пройдешь через сто страстей, через сто смертей.
Ты узнаешь, узник; что укусы цепей — лишь поцелуй.
Ты заплатишь за плоть сорока сороков себя.
Ты ответишь, что ты не бык боя и — о не овн!

О с одиночеством очная ставка,— «о»!
Ходят хладные люди фигур, но их хлад — «про»!
Каплица-икринка упала из уст и поползла — «из»! —
что эмбрион-восьминожка родит: океан или дитя «для» людей?

Ты еще неуемен на ум. Не удержишь надежд.
Ты еще за тыщу запрячешь сердце щитов,— но вотще.
Не изменят тебя ни ладан на дланях, ни Змий измен:
из чего-то, про кто-то, о кем-то, для чем!

Не прощайся, друг-дрозофила. Еще не гудел ген.
Это — солнечность, это — столичность. Ты будешь — быть!
Это — ночь Нарцисса и Эха. И день — дан!..
Ты еще несчастья не счел, ты еще досчитайся — до дня!

ЗИНАИДА ТАҚШЕЕВА

ЗАВТРА БУДУТ СПЕВОЧКИ

**Собрались к Авдотье в дом
Бабы, словно на смотрины:
Сарафаны, платья длинны,
Да кокошники притом.**

**Примеряли, ахали,
Нафталином пахли.**

Эх вы годики, года!
Старость, словно лебеда.

Говорили так, вздыхали.
«Мы когда-то были крали».

«А зятек-то мой смеется:
Не певица ты, Парушка!» —
«Стой-ка, Настя: здесь, под ушком,
Приколоть бы — оборвется!»

**«Да и мой зятек не лучше.
Усоборовал получку,
А на что? На водочку,
Не на хлебну корочку!»**

**«Раньше дроли нас имали,
Хоть гуляли девки мало».**

Тут сказала Дуся вскользя:
«Нонь робят имают сами,
Рано сады в свои сани,
Я их вижу всех насквозь!»

«Молодость ведь временна,
Погулять всем велено». —
«Тут сказать-то можно много...
Раньше девью-то красу,
Хоть и жили не в лесу,
Берегли порато строго.

Нонче девки всё у нас
Выставляют напоказ,
То, что раньше прятали,
Если шли с робятами».

«Ну, вставайте, бабы, в ряд,
Будем петь, да только в лад.
Завтра будут спевочки,
А сейчас припевочки.

**Повезут нас на концерт
Всех с утра в районный центр».**



ОЛЕГ ТАРУТИН

* * *

Сосед по роддому,
сосед по детсаду,
по цеху,
по дому,
по маршу-параду,
сосед по футболу
сосед по вагону,
сосед по толкучке внутри гастронома...

Сосед по окопу,
 сосед по бараку,
сосед по палате,
 по мраку,
 по раку...
Сосед по холму с обелиском-крестом.
Сосед по эпохе...
А там?
А потом?

ПАСТЫРИ

Побивайте пророков камнями!
Восставайте на них совокупно!
Чтоб в надменном своем исступлении
вас прельстить не успели преступно!
Побивайте пророков камнями,
не щадя богохульной гордыни!
Пусть грядущие чтят поколения
имена, что растоптаны ныне!
Ваши пастыри — с вами, как исстари,
ни в пустыне не бросят, ни в чаще.

Не пророкам — пути ваши высмотреть
в этом мире, свирепо рычащем!
Нам ли чаянья ваши не ведомы?
А пророк — это вечно: до срока..
Вместе мы оклеветаны-преданы,
как единые звенья порока!
Ну, а истина — ими ли вызнана
в злобе их и клеветах облыжных?
Пусть им памятник будет прижизненный —
шевелиющийся кучей булыжник!

НА ЛЕКЦИИ

Ах, античные мифы,
лекционный раскрой.
Все Танталы-Сизифы —
нестареющий строй.
Исторический вектор,
знаменитый набор..
Многоопытный лектор
производит обзор.
Поминает Химеру
разномастных свобод
вкупе с Цербером верным
полицейских забот.
Поминает Пандору
в рассуждение раздоров,

и помянут Прокруст
в рассуждение искусств.
Монополий эгида,
и конюшни,
и Гидра,
и дамоклов нейтрон —
поголовный урон..
Все-то в лекции верно.
Все примеры ясны.
Ах ты, время Гомера,
тишь Троянской войны.
Что же грусть меня гложет,
точно ноющий зуб?
...Ах, прокрустова рожа,
ах, сизифов ты труп...

* * *

Борису Дряну

Я знавал себя оптимистом.
Не казался мне путь тернистым,
ноша тягостной не была.
Мне казалось, что так и надо:
зуботычины и преграды,
не приветствия, а хула.
Даже бедность была мне впору,
и казалась суетным вздором
благоденства толчея
(ибо только перо, бумага —
это мука твоя и благо,
цель твоя и битва твоя).

Я знавал себя оптимистом.
Видел солнце на небе мгlistом,
на грядущее уповал.
И живу я в этом грядущем,
ни ведущим,
ни завидушим,
ни раскормленным наповал.
Все, казалось бы, хорошо бы..
Только вот от какой хворобы
что-то к финишу смещено?
И съедобное — несъедобно,
и удобное — неудобно,
и забавное — не смешно...

ВОЛХВЫ

Волхвы не боятся могучих владык
до самого крайнего случая,
когда берут волхва за кадык,
за бородищу дремучую
и тянут его от возлюбленных чаш.
«А ну,— говорят,—
повтори-ка!»
...Прости меня, истина!

Ах, не тарашь
белки на меня, владыка!
А истина только вздыхает:
«Увы...»
Бедняга,
одним лишь утешена,
что все же владык не боятся волхвы,
покуда не бьют их по плешинам.

ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ

* * *

Ты не знаешь, он не знает, мы не знаем,
Ты смеешься, он смеется, мы смеемся.
Суетня кругом сквозная, поездная,
А глядишь, на том же месте остаемся.

Ты не знаешь, кто ты есть на самом деле,
То ли дырка, то ли круглая затычка.
Ой как весело тебе в конце недели
Размышлять на эту тему в электричке!

Он не знает, как зарыть свои таланты,
Чтоб никто не смог дознаться, докопаться:

Люди, в общем, и терпимы и галантны,
Если только не мудрить, а улыбаться.

Мы не знаем, что за путь нам предназначен,
Что за сила нас толкает и волочит.
Каждый нынче, точно циркуль, раскорячен,
Оттого-то и смеется, и хохочет.

Все-то странно, все-то чудно, все-то зыбко,
Где конец ему —

стальному перегону?
Вся и радость, если чья-нибудь улыбка
Сквознячком пройдет по душному вагону.

* * *

Все какая-то мелочь:
не мысли, а свалка.
Я витаю над свалкой, как черная галка,
Или, скажем, ворона.

Гляжу, не мигая,
Потому что поодаль ворона другая.
Конкурируем мирно,
но есть напряжение,
Оттого и замедленно наше круженье,
Оттого и не радуют банки да склянки,
Что попали на свалку с последней гулянки.

ИЗ ПЕСНИ

Миленький, кто я на свете такая?
Так себе,
брось и забудь.
Ну, покручусь без тебя,
помелькаю,
Может, приткнусь где-нибудь.

Я ли себя для тебя не рядила,
В зеркало слез не лила?
Что ни случится —
не все ли едино:
Жизнь выгорает дотла.

Видишь, как загодя я привыкаю —
Падать, глаза заслоня.
Миленький, кто я на свете такая?
Вон ты какой у меня!

* * *

По стенам	То ли сердце устало,
то Никола,	Показалось ли вдруг:
То сиятельный Спас.	Вроде больше их стало —
Чудотворцу с иконы —	Тех опущенных рук,
Есть ли дело до нас?	Тех, что нас не манили,
Что ему наши муки	Как бездомных кутят,
И кумиров игра?..	И легко уронили,
Опускаются руки	И поднять не хотят.
У святого Петра.	

ГАЛИНА УСОВА

СПОР

Моря было — без меры,	И казалось опасным
Вечер медленно гас.	Что-то дерзкое в нем.
Против Марса Венера	
В бледном небе зажглась.	А Венера струила
	Свет тепла и добра.
Марс пылал рыже-красным	Сокрушительной силы
И зловещим огнем,	Был их спор до утра.

По нелепой привычке	На коленях — тетради.
Я живу в электричке,	И чего это ради
В постоянном метанье,	Путь мой длится и длится?
В бормотанье колес.	Все качает вагон.
И проносятся мимо,	Скоро кончится лето.
Летним зноем палимы,	Где-то плещется Лета.
Ели, светлые сосны	Сушит длинные весла
И сплетенья берез.	Перевозчик Харон.



ЛЮДМИЛА ФАДЕЕВА

МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА

У мамы первоклассника	У мамы первоклассника
Букет в руке зажат.	Тревожное лицо.
У мамы первоклассника	А что же с первоклассником
Коленки чуть дрожат.	Творится в этот миг?
Ну вот и школа близится,	Другому первокласснику
И школьное крыльцо.	Он показал язык!

МАРУСЬКА

Пасется лошадь,	Кругом машины тарахтят,
Ест траву.	Маруську заменить хотят,—
«Маруська!» —	Хлеб возят,
Тихо позову.	Сено косят.
Она меня услышит,	И травки не попросят.
И вздрогнет,	И не вздохнут так тяжело.
И подышит.	И не подышат так тепло...

О Т Р О Ч Е С Т В О

Вот здесь я на снимке — подросток тринадцати лет.
В кармане рубашки — в киношку грошовый билет.

Что в мире я знаю? Как будто немного, мой друг!
Блокаду, теплушку — но кто их не знает вокруг?

И цену горбушки. И нравы дворовой шпаны.
Тому, что я знаю, еще я не знаю цены!

Я толстую книгу себе под подушку сую.
Я вместе с друзьями пиратские песни пою.

Мне грезятся пальмы, кокосовое молоко.
Мне близко далекое. Близкое мне — далеко.

* * *

Тот мир я помню до сих пор,	Уже не годные в ремонт,
Там вещи долго жили:	Они рождали жалость,
Чернильный дедовский прибор	Но и на них ведь связь времен
И ручка —	Дрожащая
Мне служили.	Держалась.

Глядели с полки сверху вниз,	Не антикварный пестрый сброд -
Бросая тленью вызов,	Житейские предметы,
Надтреснутые чашки	Как будто — камешками — брод
из	Через течение Леты...
Разрозненных сервизов.	

В А Л Ь С

Черный ящик, пианино, чудо из чудес!
Ничего, что упадет клавиш соль-диез!

Руки на клавиатуре. Руки на плечах.
В Комсомольске-на-Амуре — танцы при свечах.

За окном, за плотной шторой — тихий скрип снежка,
Город юности, который постарел слегка.

А вокруг нас, на экране стен и потолков —
Тени, тени, словно тени из иных веков.

Пламя свечки заострилось жарким копыцем.
Кто велел нам обернуться в прошлое лицом?

Для чего смыкаем руки, кружимся, грустим?
В полумраке — что друг в друге разглядеть хотим?

Неразгаданную сложность или простоту?
Или — свет, неразличимый на большом свету?

О Ч Е Р Е Д Н О Й О Т П У С К

Коктебель. Столовая-веранда
Под названьем, кажется, «Лаванда»,
Под стеклянной крышею косою:
Стекла — красны, лица — в бликах рдяных,
Розовато молоко в стаканах
И в солонках — розовая соль.

Здесь мы и встречаемся утрами.
После пляжа снова по программе
Костерок ребята запалят.
А когда на землю сумрак сходит,
Парни-пограничники приходят
И огонь затапывать велят.

Что ж, затопчем, раз такое дело,
Турция дабы не подглядела,
Как блаженствуют отпускники:
Рады киммерийскому загару,
Нянчат утомленную гитару
И поджаривают шашлыки.

И ночная бабочка кружится.
И прожектор на воду ложится —
Голубой, колеблющийся свет.
И мерцают волны в этом свете.
Отпуск. Море. Век в последней трети.
Нет войны. И мира тоже нет.

ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ

* * *

Д. Гранин

Поэт в России должен долго жить.
Глотать ее туманы, воздух пить,
Водою родниковой умыться...
Он должен долго жить, чтобы успеть
Не только песню до конца допеть,
Но долгим эхом в душах отозваться.

А между ним и эхом сто преград.
И рукописи все-таки горят,
Покуда не оттиснут на бумагу.

И чтобы этот подвиг совершить,
Поэт на свете должен долго жить
И проявлять терпения отвагу...

Но падают слова в безмолвный зал.
Кто их шнуром бикфордовым связал?
Кто к ним поднес пылающую спичку?
Поэт в России должен долго жить,
А он все тшится голову сложить,
Чтоб не нарушить странную привычку...

* * *

Мне было пять неполных лет.
Я звался «сын врага народа».
Нам с мамой выдали билет
К тебе, о русская природа!

Я ничего не понимал.
Текли медлительные реки.
И русский Север принимал
Меня, признав своим навеки.

Меня, в мои неполных пять,
Его просторы покорили...
О Русь!
Я мог спокойно спать —
Меня к тебе п р и г о в о р и л и.

* * *

В конце осенних дней бывает день такой:	И на твоём девятом этаже
Проснешься ночью — небо отворилось,	Опять труба надежды зазвучала.
И Млечный Путь течёт искристою рекой,	
И кажется, всё сущее открылось.	Опять, опять в тебе звучит она.
	Зовет и поднимает выше, выше...
Все ясно вдруг в природе и в душе,	Грядёт мороз, а кажется — весна.
И кажется, ты начал жить сначала,	Родные спят и ничего не слышат.

* * *

Всю жизнь пишу одну поэму.
Придумывать не надо тему:
Она во мне, она — вокруг.
Несу пожизненное бремя —
Отобразить пытаюсь время.
Не получается, мой друг.
Что ни стихи — дневник погоды,
В них из мгновений ткуются годы,
В них неизменен круг друзей.
В них всё, что с нами происходит,
В них всё, что время в нас находит,
А время — вечный ротозей...
Вот так я сетую и маюсь,
То падаю, то поднимаюсь,
Тружусь не покладая рук.
Одну поэму сочиняю,
Мгновенья быта сочленяю...
Не получается...
А вдруг?..

* * *

Возле площади базарной,
Неказистой, но родной,
Снова веет дух амбарный,
Огуречный и грибной.
Огуречная поклажа
Выплывает из ворот.
Правит купля и продажа
И покоя не дает.
Там в карманы потайные
Бабы прячут кошель.
Встали, словно вороны,
«Лады», «Нивы», «Жигули».
Льется говор кипятковый,
Растревоженный, людской,
Деревенский, поселковый
И певучий городской.
Здесь когда-то, разбитные
И с веселостью в глазах,
Мужики полухмельные
Восседали на возах,
Подбоченившись игриво,
Слыша гомон молодой.
Полыхали гривы, гривы
Масти белой и гнедой.
Все дышало оборотом,
Голосистой кутерьмой.
Пахло дегтем, конским потом
И антоновкой самой.

И под шумное дыханье,
Всхрап, что падал на овсы,
На дыбах ходило ржанье
Перекатами грозы.
Опьяненная лугами,
По ухабам шпаря всласть,
С песней хриплой, с матюгами
Русь тележная неслась.
Сквозь веселье и надрывы
Версты мчались чередой,
Только вдруг пропали гривы
Масти белой и гнедой.
Где вы, дуги расписные,
Ржанья радостного зов,
Мужики полухмельные —
Володители возов?
Скрылись давние рассветы,
Золотые, как овсы,
Скрылись старые жакеты,
Удалые картузы...
Ничего, что не шикарный,
Но зато в своем краю,
Возле площади базарной
Я задумчиво стою.
Весь в полыни одичалой,
Закоулок пыльный желт...
Может, пегий, может, чалый
Вдруг ударит? Вдруг заржет?

ОЛЕГ ЦАКУНОВ

НОЧНАЯ БЛОКАДНАЯ СКАЗКА

А когда бомбежка грянет
И от страха вздрогнет дом,
К нам войдет ночная няня
С незаметным огоньком.

Затемнение приладит
На испуганном окне,

А на чью кровать присядет —
Не страшной тому вдвойне.

Мы сбежимся в одеялах,
В темноте прижмемся к ней
Сказку слушать, как бывало.
Тише гром — слова слышней:

«...Вот жила царевна-лебедь.
И злодей крылатым был.
А Иванушка-царевич
Птицу черную убил...»

«Из зенитки...» — кто-то вставит,
Сказку к жизни подведет...
По железной черной стае
Бьют зенитки третий год.

Бьется город наш, спасает
Нас, истаявших совсем.
Только снова нависает
Гул над нами... и не всем

Доведется с жизнью сверить,
Что конец счастливым был,
Что Иванушка-царевич
Птицу черную убил...

* * *

Нам понятней — добромнимый:
Посочувствовал — и прочь.
Но бывает — одержимый
Страстью ближнему помочь.

Утешать — его забота,
Поддержать и провожать.
За лекарством для кого-то
Все аптеки обещать.

И влететь таким счастливым,
И смутиться: «Натоптал...»
И снять лицом дождливым:
«Представляете? Достал!»

Молодой, а мне казалось,
Молодым не до того.

Боль земли его касалась,
Раной делалась его.

А потом и сам в постели
Сокрушался он: «Ну вот,
Что ж я это в самом деле,
Сколько всем теперь хлопот...»

Где обычно первой строчкой
Обращаются к судьбе
За продлением, за отсрочкой —
Он и тут — не о себе:

«Лучше летом кануть в Лету —
Провожаящим теплей...»
И летит душа по свету
С тихим пухом тополей...

ТОТ ДЕНЬ, КОГДА...

Мой город... Часто начинаю
Вот так стихи, и вновь начну.
Ночь белая. И я не знаю,
Куда пойду, когда усну...

Не устремлюсь в любовном пыле
К скамейке на краю земли.
Любови юные остыли,
Мечтанья вешние прошли.

Пожар угас, но есть горенье,
Как бы свеченье с ночью в лад.

Души спокойное волнение.
И мерный шаг. И долгий взгляд.

Вы так же город открывали,
А нынче очередь моя
Идти от здания — к детали,
От фриза — к лепке бытия.

И вновь, и сколько раз вернуться,
Сравнив с почерпнутым из книг.
Но вот ведь — тянет прикоснуться
И пальцы задержать на миг.

Ограды с деревом срастанье
Погладить, слыша сердца стук.
Еще как будто — не прощанье,
Но сам в себе замечу вдруг:

Как прислонившееся к своду
Плечо войдет в кирпичный строй,
И как опущенная в воду
Рука становится рекой.

Лицо сливается с корою,
А голос — с песнею ветвей...
И так предчувствую порою,
Что ощущаю кожей всей

Тот день, когда, у тихих строчек
Остановив свои года,
Уйду в пространство белой ночи
И растворюсь в ней навсегда...

АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ

П Р И Х О Д З И М Ы

При первом наступлении зимы...

Н. Заболоцкий

Приход зимы
всегда тревожит нас.
Надолго холод
сковывает душу.
И в лицах свет
минувших лет погас,
и только тень их
выползла наружу.
Мысль о зиме
загадочно томит,
и снова неуютно
в этом мире.
И все мне кажется:
друзьями я забыт,

закрытый навсегда
в своей квартире.

И не дожидаться
радостного дня.
И бесконечно ночь
в пространстве длится...

Приход зимы
вновь подстерег
меня —
я не успел
с судьбой договориться.

* * *

Деревенское лето
несравнимо ни с чем:
много красок
и света,
и господство над всем
солнца
в самом зените,
пенье птиц
над ручьем,

шепот лип: «Извините,
что в июле цветом!»
Этот шепот
подхватит
среди ночи
гроза,
громогласно прокатит
за холмы,
за леса...

<p>«Дождь шумлив небывало»,— скажет, радуясь, мать...</p>	<p>Видно, жизни мне мало, чтоб все это понять.</p>
---	--

ВЛАДИСЛАВ ШОШИН

* * *

<p>По балтийским проливам Шли эсминцы врага. Я хотел быть счастливым, Ибо жизнь дорога.</p>	<p>Друг предательством лживым Оскверняет уста. Я хотел быть счастливым, Ибо жизнь непроста.</p>
---	---

<p>К розам вольнолюбивым Прикасалась душа, Я хотел быть счастливым, Ибо жизнь хороша.</p>	<p>Вьюги белым порывам Не устать у виска... Как я стану счастливым, Если жизнь коротка?</p>
---	---

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛИН

НА УРОКЕ

<p>Школа в сорок первом. Нам, ученикам, больно бьет по нервам чтение по слогам: «Ма-ша е-ла ка-шу...» Непонятно мне, где достала Маша кашу на войне? Может быть, солдаты дали котелок? Съежились ребята,— бросил в дрожь урок. Мой сосед из сумки вынул свой сухарь. И, глотая слюнки, я гляжу в букварь: «Ма-ша е-ла ка-шу...» И со всех сторон слышен сильный кашель, слышен слабый стон. Как признаться классу, что я глупым был?</p>	<p>Почему-то кашу прежде не любил. В рев — при виде манной (да на молоке!). Говорила мама с ложкою в руке: «Вот умница, вот лапушка! За дедушку! За бабушку! Теперь за папу ложку. За нашу Мурку-кошку». Может, это мнится, может, занемог: на огне дымится полный чугунок. Школа в сорок первом. Как хотелось есть! Всхлипывают перья «восемьдесят шесть». Мы почти не дышим, мы в тетрадках пишем: «Ма-ша е-ла ка-шу...»</p>
--	---

ОЛЕГ ЮРКОВ

Б Е Л Г О Р О Д Ч И Н А

Холмы осенние пустынной желтизной
смущают взор вагонного зеваки.
Зеленой памятью живущие, весной,
стерней, колючею, как морда у собаки.

Мелькнут, завертятся, уйдут за горизонт.
И словно — не были,
хлебами не шумели
для нас, кто в городе — с дымящим гаражом
весь век соседствовал. И рад.
О, неужели?

В стране бесхолмия не легче ли дышать?
На ниве зреющей — простор ли вдохновенью?
«Долины ровные» судьбе не избежать,
холмов, что сглажены
по недоразумению...

Вслед сивко-поезду
стальной змеится хвост.
Ночь воробьиная разыграна по нотам.
В оцепенении леса,
взлетает дрозд,
и сонно тявкают созвездья
над болотом.

* * *

Все длинней мои дороги, все длиннее,
с каждой станцией, платформой незнакомой.
Глядя в зеркало, не верю седине я,
не подверженный естественным законам.

Между мной и этим холодом зеркальным
нечто третье замерзает в уголке.
Светом солнечным, ночным, зодиакальным
наслаждаются травинки и листочки.

От окна не отойти, чтоб отоспаться.
Рощи, выгоны проносятся мазками.
Там купальщицы Дианами толпятся
возле озера с дощатыми мостками.

Дни и ночи, дни и ночи, словно спицы
колеса, что укатилось от порога.
До деревни далеко и до столицы.
До безверия, до старости, до бога.





**ВСЕВОЛОД АЗАРОВ
СЕМЕН БОТВИННИК
ПАВЕЛ БУЛУШЕВ
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН
МАРИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ГЕРМАН ГОППЕ
НАТАЛИЯ ГРУДИНИНА
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ
ЭЛИДА ДУБРОВИНА
МИХАИЛ ДУДИН
ПОЭЛЬ КАРП
ПЕТР КОБРАКОВ
СЕРГЕЙ КОБЫСОВ
МАРИЯ КОМИССАРОВА
ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ**

**НИКОЛАЙ КУТОВ
ЮРИЙ ЛОГИНОВ
АНДРЕЙ ЛЯДОВ
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
ЛЕВ МОЧАЛОВ
НИНА ОСТРОВСКАЯ
СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ
НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА
ГЛЕБ СЕМЕНОВ
ВАСИЛИЙ СОКОЛОВ
ВОЛЬТ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ТОРОПЫГИН
СОЛОМОН ФОГЕЛЬСОН
РИЗА ХАЛИД
АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ
ВАДИМ ШЕФНЕР**

НОРА ЯВОРСКАЯ



В. Алексеев.
Аллея Анны Керн. Офорт.



ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

ВИВА, АВРОРА!

*Авроре де Мигель, первой юной
пионерке Испании (1936 г.)*

Человеческая память — удивительное дело.
Если б очевидцем не был, я б подумал: это миф.
Над толпою, словно пламя, в сонме памятников белых,
Взнесено свободы знамя, ясность неба озарив.

Мы поем, о, эти песни нам оставила Коммуна,
Бесшабашные марсельцы начинали их запев.
Поднимали санкюлоты, полюбил их Ленин юный,
Разносился с Красной Пресни баррикад тяжелый гнев.

Вновь они помолодели, боевых бригад солдаты,
Что Аргандский мост когда-то защищали до конца.
Их в Испании встречает юность лет восьмидесятых.
Как восторженны и святы, как вознесены сердца!

Эта славная девчушка на воробушка похожа,
Дирижирует задорно, повторяя: «Са ир́а!»
А потом «Бандьерра Росса». У меня мороз по коже,
Словно наш Октябрь десятый был отпразднован вчера.

Рядом встал седой профессор, он посланец Ленинграда,
Уходил тогда последним и опять пришел в Мадрид.
Почему же эта донья, что с него не сводит взгляда,
Треплет волосы и громко говорит: «Давид! Давид!»

И тогда он вспомнил голос первой юной пионерки
(Дал отец Авроре имя в честь октябрьского огня).
И они стоят под флагом, выпрямившись на поверке,
«„Кукля чертова“, — ты помнишь, называли вы меня?!»

И она сперва смеется, а потом тихонько плачет.
Десять лет за красный галстук провела она в тюрьме.
Два держали в одиночке. «Но какая все ж удача,
Что живем, что мы на солнце, а не там, в могильной тьме».

Пионеры, комсомольцы! Золотого солнца нити
Из России протяните в город к ней, в Сен-Себастьян.
Вы сестру свою Аврору к нам на праздник пригласите,
На «Аврору», красный крейсер пролетариев всех стран!

ДОЛИНА ПАВШИХ

У горы в кремнистом теле
Исполинский зал пробит.
Девятнадцать лет гремели
Здесь кирка и динамит.

Девятнадцать лет стояла
В залах темная вода.
Мы людей, долбивших скалы,
Не увидим никогда.

Фалангистов тусклым гляncем
Обнесла гранита гладь.
Но могил республиканцев
В зале том не отыскать.

Мы идем по скорбным плитам.
Жизнь и гибель. Свет и тьма.
Вялых роз ковром прикрыта
Барки грузная корма.

Только то совсем не барка,—
Обнажив личины суть,
Здесь зловещий карлик Франко
Завершил свой страшный путь.

И монахи, как вороны,
Чинно ходят по углам.
И стучит весло Харона
По уступчивым камням,

Словно иступленный заступ.
А когда в долине слез

Гаснет свет,
из алебаstra
Выступает вдруг Христос.

Здесь дорога не легка мне,
Но, смиренью вопреки,
Смелой девочки по камню
Слышу быстрые шаги.

И пока она играет
Под гранитною стеной,
Круг чистилища и рая
Остается за спиной.

Восходящие ступени
Нас выносят на простор,
Где ползут тумана тени,
К нам спустившиеся с гор.

Набухает, словно невод,
Облаков гряда окрест,
Упирающийся в небо
Над горой поднялся крест.

Холст картин, лишенных рамы,
Гулкий колокола бой,
Из ущелий Гвадаррамы,
Где давно окончен бой.

Обрамлен закатным кантом,
Сизый камень сир и наг.
Поднимают гор атланты
Ввысь республиканский флаг!

Время летит быстро. Легко ли подумать: Всеволоду Борисовичу Азарову, такому энергичному и, как у нас говорят, вечно молодому, — три четверти века! А за плечами его — все стремительные и трудные годы становления Советской страны, яркие и незабываемые события быстро меняющегося мира: и антифашистская война в Испании, навсегда оставившая в поэзии Азарова тему пламенного интернационализма, и Великая Отечественная, активным участником которой он был и прекрасные стихи его о которой долго будут жить в памяти читателей.

Азаров — поэт ленинградский. Наш город он назвал «товарищем более чем полувековой судьбы». Написанная им в жестоком 1942 году вместе с Всеволодом Вишневским и Александром Кроном героическая комедия «Раскинулось море широко» была поставлена в блокадном городе и вселяла в сердца людей веру в нашу неизбежную победу. Комедия эта ставится и по сей день.

Нередко Азарова называют поэтом флота. И это верно. Уже в ранних своих стихах он



М. Беломлинский.
Всеволод Азаров. Дружеский шарж.

рассказал читателю с чувством гордости и революционной романтики, на какие широкие океанские дороги, преодолев все испытания, выйдут новые, изменившиеся до неузнаваемости советские корабли. Именно флоту и его героям посвящены такие книги Азарова, как «Балтийские баллады», «У двух морей», «Солнце и море», «В боевых походах», «Океанский проспект», «Мужество» и многие другие. Из литературного объединения «Путь на моря», много лет руководимого Всеволодом Борисовичем, вышел не один прекрасный флотский поэт.

Десятки стихотворных и прозаических книг создал Всеволод Азаров. И все они крепко привязаны к жизни, к ее значительным событиям, к большим и малым человеческим радостям и горестям — и потому сердечно принимаются читателем. Все мы, ленинградские поэты, знаем Азарова как доброго, верного и заботливого друга.

Долгой Вам жизни и счастливой работы, дорогой Всеволод Борисович!

Семен Ботвинник

* * *

Знакомые краски детства,
Тени старых платанов,
От них никуда не деться,
Они влекут неустанно.

День бесконечно длинный,
Он полон звучною речью,

Соленым вкусом маслины,
Соком брынзы овечьей.

Рядами желтые скалы,
Прибрежные камни плоски.

Помнишь влажность причала,
Волной омытые доски,

«Помнишь?» — только и слышно,
Дробный голос прилива,
В росе пунцовые вишни,
В сиянье матовом сливы.

Красная мякоть арбуза,
Море в чаящем гаме
И голубые медузы
Полыми колоколами.

Ветер, мчащийся навстречу,
Выгнутые, как змеи,

Стручки осенних гледичий,
Голубизна ипомеи.

Все в Барселоне знакомо,
Лист оранжево-серый,
Беседка старого дома,
Резкий стон романсеро.

Сюда приехал я другом,
Захвачен давними снами,
Где жар испанского юга
Перекликается с нами!

Д О В Е Р И Е

Памяти Александра Лебедева

Лебединая песня поэта
Начинается с первых стихов.

Александр Гитович

Был он в молодости сильным,
В зрелые года был смелым —
В небе черном, в море синем,
На песке пустыни белом.

Не были мы с ним друзьями,
Но, колоду дней тасуя,
Передал он мне на память
Друга книжку записную.

Друг не взял ее с собою,—
Он не помышлял о славе.
Просто книжку перед боем
Младший старшему оставил.

Звездный купол запрокинут,
И маяк сигналил четко
Там, где сомкнуты глубины
Над его подводной лодкой.

В книжке той цифирь хранится
Точной штурманской прокладки,
Молодых стихов страницы
В ней сохранены в порядке.

А еще есть в книжке этой
Телефонный номер старый —
Той, что виделась поэту
В миг смертельного удара.

Старший спит давно под сенью
Черных сосен в дачной зоне,
И оборвано гуденье
В старой трубке телефонной...

Только так и не иначе,
Словно луч в зеленой куще,
Стих, что в молодости начат,
Продолжает жить в грядущем!



СЕМЕН БОТВИННИК

* * *

Сверкает лед Памира,
подтаяв по весне...
И свет, и радость мира
в его голубизне.

Ни скалам крутолобам,
ни всаднику в седле,
ни смуглым хлопкоробам
на высохшей земле —
от солнечного взора
не скрыться никуда,
блестят под ним озера —
студеная вода...

Играет тень платана —
по-юному легка,
светла и первозданна
в камнях шумит река.

Для малого селенья,
для горного гнезда —
и гибель, и спасенье
гремящая вода...

И чутко люди внемлют,
когда в тревожный срок
толчки глухие
землю

уводят из-под ног,—
Тогда, как паутину,
река
в лихом году,
обрушась, рвет плотину —
живому на беду...

Блестят в горах Памира
озера-жемчуга,
но боль и горечь мира
не тают, как снега.

* * *

Дорога вдаль уносится, пряма,
гремит во мгле железо... И в тревоге
глядит верблюд с высокого холма
на цепь огней, летящих по дороге.

Бензин впитали запахи земли,
несется пыль от городских окраин...
Когда бы в степь машины не пришли —
верблюда разве выгнал бы хозяин?

Вот возле юрты кашляет «москвич»,
многоголосый гул летит оттуда,—
и слышится во мгле печальный клич
дичающего медленно верблюда.

С холма он смотрит вниз... Уже темно
Знакомое доносится наречье...
Он смотрит вниз — и горечи полно
его непониманье человечье.

* * *

Аромат разливается в знойной тиши,
солнце травы сжигает жестоко.
Посмотри, как нежны они, как хороши
эти знойные розы Востока.

Ты не видел:
сюда на рассвете пришли,
сердцем трудную долю приемля,
садоводы, чьи руки темнее земли,—
и рыхлить, и поить эту землю.

И избавить ее от белесых камней,
чуть коснется небес позолота.
Распускается медленно роза.
На ней
не росинки, а капельки пота.

* * *

Ученые спорят упрямо,
но спор ничего не решит.
История — старая дама,
а по-молодому грешит...

Белила ее и румяна —
всего лишь привычный обман.
Выходит она из тумана
и снова уходит в туман...

Ее украшающий глянец
и славу трубящая медь
не могут кровавый румянец
со щек ее впалых стереть.

Уж лучше бы сразу ослеп ты,
чем в хмари следить ее путь...

Ее молодые адепты
в догадках увязли по грудь.

Что помнит, что кануло в Лету,
хоть вычерпай Лету до дна —
лукавей не сыщешь ответа:
она не былому верна...

Былое тaitся во мраке,
его не отыщешь ты вдруг,—
быстра эта дама на враки
в кругу легковерных подруг.

Событий чреду от Адама
доводит она «до ума»...
История — старая дама —
себя гримирует сама.

ПО МОТИВАМ АНДЕРСЕНА

В царстве голых королей
люди голы, пашни голы,
в небе — вместо журавлей —
поразвешаны глаголы:

дескать, нам всего милей,
дескать, нам всего дороже
царство голых королей —
от беды спаси их, боже!

В царстве голых королей
солнце светит безучастно.
Ночью поступь патрулей
слух терзает ежечасно.

В ярком блеске хрусталей
развернув святое знамя,
груды голых королей
украшают орденами.

В царстве голых королей
растеряли перья птицы,
там сплоченный строй нулей
замыкают единицы...

И течет рекой елей,
и ведут солдаты войны...
Все обычно, все спокойно
в царстве голых королей.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

(1902—1961)

* * *

Хочешь покоя? Убей свою память!
Сразу наступит покой:
Глянешь спокойно пустыми глазами
из обложки пустой.

Только — где мера тому, что ты прожил,
чем ты сегодня живешь?
Сердце живым оставаться не может,
если ты память убьешь.

* * *

Когда я перо наклоняю,
чтоб слово бумагу загло,
я силу огня вспоминаю
и грозную скорость его.
Не знаю, не помню, кто автор,
но слова точней не найдешь:
«Страшнее всего — полуправда,
подлейшая, худшая ложь».
И думаю: будет ли в слове
та цельная правда одна,
та капля стремительной крови,
что сердцу людскому нужна?..

Из Магаданского дневника

Про настоящие стихи говорят: они написаны кровью. В этом есть известная красота. Стихи, которые предлагаются вниманию читателей, ни в каком украшательстве не нуждаются: они были написаны в пересыльных тюрьмах, в лагере — всюду, куда судьба бросала автора.

Елена Львовна Владимирова родилась в семье потомственных моряков. Отец был морским офицером, мать — из семьи известного русского флотоводца адмирала Бутакова.

Елена Львовна училась в институте благородных девиц, но уже в 1916 году начинает знакомиться с подпольной революционной литературой, а как только в Петрограде была

создана комсомольская организация, вступила в ее ряды. Работала в «Ленинградской правде», «Красной газете», в журнале «Работница». Стала женой одного из организаторов ленинградского комсомола Л. Н. Сыркина. За ним следовала всюду — на борьбу с басмачеством, в органы Помгола на берега Волги. Последовала и в места не столь отдаленные. Более 18 лет провела в лагерях и продолжала писать.

Здесь печатается несколько ее стихотворений, свидетельствующих о таланте автора и его вере в то, что справедливость восторжествует.

Юрий Люба

* * *

Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!» —
садиться наземь, в снег и грязь,
приказывал конвой.
И, равнодушны и немь,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до окрика: «Вперед!»
Что пересылок нам пройти
пришлось за этот срок!
И люди новые в пути
вливались в наш поток...
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять.
И хоть он тоже знал устав,
в пути зачтенный нам,
стоял он, будто не слышав,
все так же прост и прям.
Спокоен, прям и очень прост,
среди склоненных всех,

стоял мужчина в полный рост,
над нами глядя вверх.
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись!» — он крикнул. — Слышишь, ты?
Садись!» Но тот не сел.
Так было тихо, что слышать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
Колонна, марш вперед!»
И мы опять месили грязь,
не ведая куда,
кто с облегчением смеялся,
кто бледный от стыда.
По лагерям — куда кого
нас растолкали врозь,
и даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне, высокий и прямой,
запомнился навек —
над нашей согнутой толпой
стоящий человек.

* * *

Не пишите эпитафий
на погибших в заключение.
Ожидать от вас мы вправе
хоть немного уваженья.
Нам не надо полувздохов.
Мы не слов хотим, а дела,
чтоб случившееся с нами
продолженья не имело.





АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

* * *

Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом,
Но обязательно торжествует.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом.
Почему-то потом.
Но почему-то обязательно.

* * *

Да что же такое! В больницы ложатся
один за другим, словно снова война.
Холодный январь полостных операций.
Какая карается этим вина?

Иду по январскому снежному залу,
последнего жду над собою суда.
Иду, вспоминаю: меня разрезали,
сшивали и резали снова тогда,
когда я был старше друзей на войну.
Всего на одну.

Друзья мои пересдавали зачеты,
влюблялись в кого-то и пили за что-то
в запущенной послевоенной зиме.
А я в коридорах больничных лежал
под байкой солдатских рябых одеял.
Да что же такое! — так думалось мне.

А это тогда воздавалось судьбой
за все мои вины годов предстоящих.
Живу и брожу среди хлопьев парящих
сегодняшней долгой бессонной зимой.

А вдруг мне недодано было тогда?
Последнего жду над собою суда.

* * *

По статистике многие женщины
от усталости сходят с ума.
Не позором — базаром развенчаны,
в сумасшедшие едут дома.

Им мужья передачи приносят.
Детям врут, что они отдыхают.
Они больше не требуют — просят.
Они больше не плачут — вздыхают.

И живут на окраине города
в корпусах за глухими оградками
некрасивые, и негордые,
непричесанные, ненарядные.

И мужчинам дают указания,
чтоб питались и чтоб не терзались,
осторожно по улице шли
и чтоб нервы свои берегли...

* * *

Время, ты незапятнано.
Поглощенные Летою,
оживают распятые,
исчезают воспетые.

Колокольные звоны
память прочили вечную —
вспоминаем казненных,
забываем увенчанных.

МАРИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ

МОИ СОВРЕМЕННОЦЫ

Моей маме, сестре Нине

Монастырь над бегучей красой — Ангарою.
Ходят люди туда — поклониться надгробью.
Экскурсанты, притихнув, оградку облепят,
гид — почти что отслужит словесный молебен
похороненной здесь Трубецкой Катерине,
русской женщине, не позабытой донине.
Чтя отважной любви непреклонную силу,
кто-то робко возложит цветок на могилу...
Подвиг — вечен. Но те «каторжанки» хоть знали,
что мужей обрекло на сибирские дали.
Как ни страшно бывало, как душа ни болела,
претерпели гоненье — за правое дело!
Но не то испытали современницы наши,
отхлебнувшие вволю из горестной чаши.
Колыма и Норильск... Годы сумрачно-длинные...

Там любимых спасали — неверьем в их «вины»!
Обивали пороги, в лагеря порывались,
а порой и в полярной земле оставались.
Против зла — не единственные едва ли,
в те года — силой слабых — бесстрашно вставали!
Далеко позади, смутны облики горя...
Правду мудро высвечивает История:
кто за что возвеличен, а кто — преуменьшен...
Но в тени давний подвиг отчаянных женщин,
стойко верных своим, без вины виноватым...
С декабристками рядом — по праву стоять им!



ГЕРМАН ГОППЕ

* * *

Ах, как ты прозрачна над прошлым,
над давним завеса.
И не остановишь мигание частое век.
Седой человек вспоминает,
как съел он довесок,
Бессрочною казнью казнится седой человек.
Не пробуй сказать,
что не мог бы судьбу изменить он.
Распалась, застыла
блокадной поры круговерть,
Чтоб день по минутам
из страшного прошлого вытек,
А в нем тот довесок, довесок
и мамина смерть.

ПОСЛЕДНИЕ СМОТРЫ

Под кушей листьев молодых Стареющего тополя...	Уже не ищешь — где мой взвод? — Не то соединение.
Не все, кто до сих пор в живых, Но те, кто смог, притопали.	Ах, память, память, что за толк Производить ревизию, Где пятеро представляют полк, Неполный взвод — дивизию,
Годов неумолимый ход Меняет точку зрения:	

Где в сквере

корпус развернуть

Позволит территория.

Со стороны кому-нибудь —

Привычная история.

Привычной некуда.

Ну что ж,

О чем и речь иначе бы.

Ты снова к юности идешь.

За вход сполна заплачено.

* * *

А правда смягчается

даже честнейшей строкой.

И хочешь не хочешь —

война все равно приукрашена.

Ты словно в санбате,

И память глядит медсестрой.

И шепчет тебе,

что окончилось самое страшное.

* * *

Я не верю в счастье одноцветное:

Розовое счастье, голубое.

Потому, возможно, что в ответ оно

Не желало встретиться со мною.

Яблоко и виногра́т в тарелочке,

С золотой каемочкой к тому же.

Вот какие сказочные мелочи

Возвратились

и со мною дружат.

А мое из тьмы восстало радужно,

Хоть не так отчетливо в оттенках.

Бинт приподнял. Присмотрелся.

Надо же:

Тумбочки разглядываю, стенки.

Вот оно какое, счастье полное,

Даже не считая фрукты-овощи...

Попадая из огня да в полымя,

Так мечтал остаться не беспомощным.

Возлежу царьком в высоком тереме,

Даже пошевеливаюсь малость.

Разбираюсь:

в сущности, потеряно

Много меньше, чем предполагалось.

Памятлив на это счастье очень я,

За права особые не ратую,

Не прошу, чтоб пропустила очередь.

Я и так с тех пор живу под радугой.





НАТАЛЬЯ ГРУДИНИНА

В ТОЙ СТРОГОЙ ДЕРЕВНЕ

Хозяин — ворюга. Но псу он дороже всего.
В любви неразборчива честная песья натура.
Кто вора пристукнул и где закопали его —
Об этом в деревне смолчит и последняя дура.
А пса посадили соседский стеречь огород,
И выл он, как волк, от жестокого лунного блеска,
И рвался с цепи, и срывался единожды в год,
И призраком мести по весям метался окрестным.
С дрекольем и матом бежали за ним мужики,
И дачники враз паковали свои чемоданы.
В хозяйствах убытки от этого пса велики —
И рваные брюки, и страхи, и штрафы, и раны.
И все же ни дробью медвежьей, ни острым колом
Смурную напасть не прикончили и не огрели.
В той строгой деревне могли без суда, поделом,
Убить человека, но пса почему-то жалели...

ЗАМОРОЗОК

В блеске инея, в треске веток,
В жажде власти над всем живым
Мчится заморозок рассвета —
Бледный всадник без головы.
Ничего-то ему не надо
В мире слякотном и кривом, —
Опахнуть бы деревья сада
Легким призрачным рукавом,
Испугать бы дыханьем стужи
Самый красный задорный клен,
Да чтоб синий глазочек лужи
Был бы наглухо застеклен.

И ни роздыха, ни отбоя
Той тревоге воздушной нет...
Неужели и нам с тобою
Предстоит и такой рассвет?
Рассмеется пустое эхо
Над умнейшею суетой,
Кто-то властный придет помехой
Нашей осени золотой.
С тихим звоном взлетит на воздух
Листьев бронзовых кутерьма...
Что ж, прими этот день морозный
И не жмурься. Идет зима.

«Родилась я в Ленинграде в 1918 году. И если говорить об определяющих мою жизнь линиях — то это Ленинград, Балтика, Ленинградский Металлический завод. Окончание Ленинградского университета совпало с началом войны. В блокаду из самых близких моих выжила одна мать».

Я знал маму Наташи — Елену Семеновну Грудинину. Выборгская сторона, Металлический завод были ее родным домом. А была она дочерью учителя, исключенной с Бестужевских курсов за помощь революционерам-подпольщикам.

Проработавшая на Металлическом заводе долгие годы комендантом общежития, секретарем начальника цеха, она и дочь свою после окончания войны послала переводчиком на родной Металлический завод. Станки, получаемые по ленд-лизу, начинавшееся сотрудничество создателей советских турбин с зарубежным миром требовали, как требуют и сейчас, труда не только строителей, но и толмачей.

А главное, чего настойчиво добивалась от дочери мать, было приобщение к рабочей советской, к братству тех, кого воспели когда-то Борис Корнилов и Дмитрий Шостакович в «Песне о Встречном».

И поверила в Наташины литературные силы первой тоже мать!

А я познакомился с двадцатилетним красnofлотцем, сотрудником многотиражной газеты бригады шхерных кораблей «Боевой курс» Натальей Грудиной во время завершающих операций по освобождению Советской Эстонии от фашистов. Познакомился у причалов одного из островов Моонзундского архипелага Сааремаа (Эзель).

Порывистая, резкая, с темной прядью, выбивающейся из-под матросского берета, Наташа отличалась предельной прямоотой, искренностью — свойствами характера, полностью отразившимися в ее поэзии.

В предшествующих боях за освобождение советской земли у острова Пийсаари погиб комсорг отряда тендеров Николай Гетманенко. «Было мне как-то стыдно перед ним... — признавалась позднее Наташа. — Что моя рядовая работа на войне перед подвигом Коли, кто, тяжело раненный, все наваливался, все жал на гашетку пулемета, прочесывая лесной ост-

ров, расчищая путь десанникам в этом неравном бою». Помню тогдашние наши разговоры с Грудиной, помню беседы о людских судьбах, о поэзии, которой Наташа в ту пору жила с такой же ответственностью и горячностью, как и сегодня.

С какой тоскливой, трудною любовью
Я прихожу на старые места...
Трава там неестественно густа,
Пропитанная человеческой кровью.
Там моряки, во цвете лет и силы,
Под реквием торжественной волны,
В никем не обозначенных могилах
И даже без могил погребены.

Первая — небольшая, тоненькая, белосине-красная, как морской наш флаг, — книжка Наташи Грудиной вышла в Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия» (было время, когда такое отделение существовало) в 1948 году. Сорок лет назад...

Для меня как-то незаметно подошла к рубежу своего значительного этапа жизни Наталья Грудина. Подошла — как поэт, как один из лучших переводчиков талантливой поэзии народов советского Севера, как педагог.

Я думаю, что добрая половина тех, кто участвует в этом «Дне поэзии», так или иначе признательны Наталье Иосифовне за дружескую творческую помощь. А если говорить о душевной поддержке, то к числу людей, обязанных ей этим, принадлежу и я.

Последняя по времени выхода книга стихов Натальи Грудиной «Посвящается молодости» датирована 1970 годом.

Когда-то Николай Ушаков написал строчки, ставшие классическими: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь».

В этом нетрудно убедиться, прочитав предложенные читателям «Дня поэзии» стихи. Если бы автор предложил, а редакции вольны были их напечатать своевременно, нива нашей поэзии давно бы пополнилась этими жесткими, несгибаемыми колосьями — строками, необходимыми как хлеб.

Ни одно из морозостойких зерен не отсырело, ни одна жизненная позиция, отстаиваемая автором, не устарела.

Всеволод Азаров

НАДЯ

Кто, скажите, есть у Нади?
Никого. Совсем одна.
Поначалу в интернате
Окультурилась она.

В неответственных работах
Поискав себя окрест,
При содействии кого-то
Затесалась в джаз-оркестр.

Стала голосом и слухом
Надя публике нужна.
В остальном — опять же глухо:
Никого. Совсем одна.

Есть ли братья? Есть ли сестры?
Где, к примеру, мать с отцом?
От вопросов этих острых
Надя старится лицом.

И тогда тромбонщик в джазе,
Задумчивый человек,
Без расспросов и фантазий
Прямо к партии прибег:

Мол, товарищ наш в расстройстве,
Мол, вопрос стоит ребром,
Проявите беспокойство
Телефоном и пером.

Строки памятной записки,
Зов партийных директив,
В результате — мастер сыска,
Милицейский детектив,

Развернув природный дар свой,
Как велели Нач и Зам,
Прочесал он государство
Штрихпунктиром телеграмм.

И от дальних мест до близких
Начался печальный кросс,—
Тюрьмы, морги, обелиски
Откликались на запрос.

Среди павших, среди падших
Никого у Нади нет.
А еще чуток подальше —
Положительный ответ...

В гардеробе две дубленки,
У подъезда «Жигули».
«Мы по поводу ребенка.
Нас искали — мы пришли.

Мы замалчивать не склонны
Наши личные дела.
Эта Надя незаконной,
Нежелательной была.

Не травите Наде сердце.
Если всё, то мы пошли!»
Прошуршали, хлопнув дверцей,
Мимо окон «Жигули».

Спят законы, обоняя
Запашок дубленых шкур.
Так что, партия родная,
Не старайся чересчур.





СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ

ВЫСТАВКА

Это была или выдумка, просто легенда:
лишь вчера был отогнан от города враг,—
как на выставке, пусть малолюдной и бедной,
выставлялось всего лишь десяток собак.
Были все экспонаты заштатного сорта,
малорослые, слабые, полуслепые
от коптилок и свеч — все же сорок четвертый...
Разной масти собаки, но морды седые.
А хозяева их старики да старушки,
будто тени... Попробуй представить такое,
чтоб в аду, где ревут дальнобойные пушки,
уберечь от огня хоть бы что-то живое!
Все отдали за хлеб, до последней иголки,
но к живому любовь не сожгла голодуха.
Эта Жучка — сына, что был ранен на Волге.
Эта... просто ничья, подобрала старуха.
Отогреть, убереечь, утаить еще надо,
заслонить от любого голодного взгляда.
Эта выставка тихо прошла, незаметно.
Эта выставка после прорыва блокады
в Ленинграде была —
это была, не легенда!

* * *

За чаем у меня сидит слепой,
его ко мне привел товарищ мой,
сказав: «Ты почитай моей родне —
и, если можешь, только о войне».

Гость молод, строг, внимательно одет,
для лет своих, пожалуй, слишком сед,
он в черных — не заглядывая — очках,
он понимает, видимо, в стихах.

И вот, поймав его стеклянный взгляд,
я начинаю тихо, наугад,

как за водою на Неву ползли,
как убереечь любимых не смогли.

Как был для нас тогда расчет простой:
на душу хлеба меньше, чем свинца...
Вдруг разрешенья попросил слепой
дотронуться руками до лица.

Я лбом студил горячих пальцев бег,
как осторожно он коснулся век!
И под конец он вздрогнул почему,
что досказал я кожей ему?..

Сергей Давыдов — дальтоник. Пусть простит он меня за обнаружение этого его недостатка. Во-первых, я слишком остро почувствовала его в жизни, будучи однажды беспощадно осужденной Давыдовым за то, что не остановила его при покупке лягушачье-зеленых резиновых сапог вместо «благородных сереньких», за которые он их принял. Во-вторых, Сергей Давыдов и не скрывал своего «недостатка»: в одном из печатно неизвестных, но устно широко популярных стихотворений он сам откровенно признавался:



М. Беломлинский.
Сергей Давыдов. Дружеский шарж.

«Вообще-то, я с детства дальтоник...» Поразмыслив, я пришла к выводу, что дальтонизм, пожалуй, сущий бич для живописца, но для поэта не слишком большая помеха. Да и в юности Сергея, когда он занимался гребным спортом, дальтонизм не остановил его: на реке ведь нет разноцветных светофоров, которые были бы губительны для Сергея на суше... А уж сушу от воды, равно как небо от земли и мужчину от женщины, Давыдов всегда умел отличать. Дальтонизм не мешал Сергею, мощно ворочая веслами, плавно и вертко вести свою одиночную байдарку мимо набережных, с которых я, тогда еще не знавшая его, быть может, восторженно любовалась им и подобными ему гребцами. Так же впоследствии я преклонялась перед его стихами (Давыдов вошел в поэзию значительно раньше меня), которые он, видимо, создавал между рабочей сменой на заводе и занятиями на байдарке. Очень может быть, что дальтонизм неисповедимыми путями даже помог его поэзии стать более емкой, точ-

ной, крепкой. Ведь банальный «цветовой», описательный эпитет компенсирован в ней спортивно безошибочным чувством правды, меткой метафорой, теплой душевностью. Неслучайно Давыдов — мастер сюжетного стихотворения, баллады, увлекательного и проникновенного стихотворного повествования. Для меня такая поэзия ближе и настоящее поэзии живописной, блестящей оттенками и полутонами. Так что, как это ни парадоксально, стихи Давыдова не только не бедны, а, наоборот, невероятно богаты и мно-

гообразны. Человек С. Давыдов и лирический герой его стихов по-медвежьи тяжеловесны и в то же время подвижны и неуловимы как ртуть; компанейски открыты людям и одновременно замкнуты и одиноки; душевно нежны к человеку, хотя и любят производить над ним порою суровые эксперименты; отлично дифференцируют добро и зло... Все эти противоречивые качества поэзии и личности Давыдова порождены, может быть, не только его сердечным вниманием к герою (и особенно к героине) стихов, к читателю их, не только высоким талантом Давыдова, но и его замечательной стихотворной умелостью крупного мастера ленинградской школы. Все это и есть неоднозначный, неожиданный, но яркий и душевно пронзительный поэтический «цветник» Сергея Давыдова. Да будет он цвести для нас еще долгие-долгие годы, радуя и удивляя, привлекая и «пронзая», умилая и веселя, уча нас и дружа с нами.

Нонна Слепакова

* * *

Стоял художник на траве,
лежал берет на голове,
курчавилась борода.
Он шарил взором в синеве,
сидел паука в рукаве,
в реке гуляла лодка.

Цветы, ворону, мопса, ель,
реки зеркальную панель
писал он прямо с лету.
Синицу, дом, в калитке щель —
все в дело шло, все было в цель,
годилося все в работу.

Крутил башкой то вверх, то вниз...
А я подумал: где же мысль?
Кусты, цветы, собака...

Весьма хорош вот этот вяз,
и этот пень ласкает глаз,
но где же мысль, однако?

Но вот, придя на вернисаж,
знакомый встретил я пейзаж,
таких везде навалом,
обычный вид: заштатный день,
река, собака, птица, пень...
Но что же сердце сжало?

Какая боль вошла в меня,
надменный взгляд перемена
на грусть необъяснимо?
В сиянье сереньких небес
давно забытый день воскрес.

А дни — все мимо, мимо...

ДЕВЯТОЕ МАРТА

В ресторане пустом темновато.
И певица поет без азарта.
Две-три пары сидят виновато
В ресторане девятого марта.
Ресторан дорогой и огромный,
все вчера здесь гремело, сверкало,
а сегодня, забившись в укромный,
ты притронулась к ножке бокала.
Пахнет здесь чем-то пыльным и пряным.
Ты встаешь уже: «Милый, так поздно!»
Кончен ваш послепраздничный праздник.
Ты к щеке прижимаешь мимозы.
Задержавшись на миг на пороге,
ловишь взгляд, восхищенный как прежде.
Руку дашь дорогой безнадее —
и к себе, к повсечной мороке.
Дни потянутся длинные снова.
Но вы встретитесь. В мае. Второго.

* * *

Позвонил человек человеку
и в ответ услышал: «Кукареку!..»
Не ошибся ли, номер набрав?..
А теперь раздраженное: «Гав!»
Ну, не прямо так — «гав», что-то вроде,
на нормальный язык в переводе.

Еще раз дозвонился в отчаянье,
а в ответ — как из клетки, рычание.
Человек оторвался от трубки,
зашатался и вышел из будки.
«Вам помочь?» — я шагнул к человеку.
«Мне уже не помочь! Кукареку...»

ЭЛИДА ДУБРОВИНА

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

«Скрип да скрип...» — пролилось из младенческих снов,
Маховые запели иглицы.
Из-за сасовских далей, мещерских лесов
Машут крыльями мельницы-птицы.
По-над отчиной пахарей и берегинь,
Над полями, где вызрели злаки,
Пишут в книге небес золотые круги
Легковейные, грузные взмахи.

Это коло, движенье сварожьих времен,
Повторенный кольцом хоровода,
Повторенный круженьем резных веретен,
Означает бессмертие Рода.
Ход созвездий и солнца на вечных путях
Жемчуга на шелку повторили,
Взлеты рук кружевниц, вышивальщиц и прях
И узорочья сельской кадрили...

«Скрип да скрип...» — безначален столетиям счет,
Тянут ветры с нагорий высоких,
Дует юный Стрибог, верно службу несет,
Раздувая румяные щеки.

...И встает она, старенькая, предо мной,
Пахнет спелым зерном, отрубями.
На пологом холме над родной стороной
Безотказными машет крылами.

Здравствуй, милая, дышащая тяжело,
С ветерками мучными в закуте!
Как взлетали мы ввысь, ухватясь за крыло,
Замерев от восторга и жути!

Не сердчай!.. Так хотелось и нам в высоту!
Ты прощала вихрастых, сопливых,
Еще бережно стряхивала мелкоту
Прямо в заросли жгучей крапивы.

Что, кормилица, смолкла? Пропой что-нибудь,
Как ночами нам матери пели!
Под твоим ли крылом отскрипел санный путь,
Отскрипели славян колыбели,
Отскрипели веревки тесовых ворот,
С журавлями колодцы, телеги...
Да обрушились в прах с голубиных высот,
На иглицы рассыпавшись, слегли.

...И приснился однажды сквозь радугу слез
Путь отринутый, странный, иной:
На серебряном блюде мне ангел принес
Горсть избушек и сад под луной.
И узнала я очерк родного села
И дыхание пашни парной...
Подняла на ладони, к губам поднесла
Горсть избушек и сад под луной.

Занялось на малиновом поле зари
Золотое порхание звезд...
Пой, тальяночка, пой, говори, говори
Про очаг, колыбель и погост!
Вот иду я тропинкой на ржанье коней,
Глажу гривушки детской рукой,
И опять, словно в песне отринутых дней,
Чудный месяц плывет над Окой.

Вот полынную свежесть несет ветерок,
Вот пахнуло теплом от избы —
Словно не было долгих, нелепых дорог,
И другой не хотелось судьбы.
Вот и жизнь еще в самом начале пути,
Вот и время совсем ни при чем...
И вспорхнул голубок, и навстречу летит,
И садится ко мне на плечо.

Так стояла я с блюдцем волшебным в руке,
Обмирая в смертельной тоске,
Вся — невольно причастная тайному злу,
Вся — чужая родному селу.
Это было иль нет? Это — сон или жизнь
Пополам с сумасшедшей тоской?
Чудный мир на серебряном блюде дрожит,
Чудный месяц плывет над Окой...
Чудный мир, как надежда, из мрака встает,
Что мне делать с ним, боже благой?
«Сотворить!» — громыхнуло сердито с высот,
«Сотворить!» — пронеслось за рекой...





МИХАИЛ ДУДИН

С О Н Б Е З П Р О Д О Л Ж Е Н И Я

Во сне по какой-то причине
Случайно привиделся мне
Белеющий парус в пучине,
Скользкий по синей волне.

За парусом легкою прошвой
Струился отчетливый след.
И не было гибели в прошлом.
И в будущем гибели нет.

Из бездны к седому карнизу
Причудливо гибкой воды
Взлетал он и медленно книзу
Сползал, в основание беды.

И не было парусу больно.
И не было больно волне.
И что-то прекрасно и вольно
Играло и пело во мне.

НАД ПИСЬ НА КНИГЕ Д. ФРЭЗЕРА «ФОЛЬКЛОР В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ»

Среди легенд о мировом потопе
У каждого народа свой рассказ.
Одним ученым собранные в скопе,
Легенды эти я читал не раз.
И замечал, что каждое сказанье,
Рассматривая этот страшный суд,
Пространно толковало наказание
Как приговор за алчность и за блуд.
...А что теперь, в космические будни,
К великим тайнам подобрав ключи,
Что мы творим, своей свободы судьи
И собственной победы палачи?!

В какие дали нас ведет дорога?
Мы мир земной разграбили, губя,
Вломились в небо, отстранили бога
И скинули ответственность с себя.
И заблудились. Вывози, кривая!
Срывается история с ума.
И кровь рождает кровь. И вместо рая
Всемирного безмолвия зима
На горизонте собирает тучи.
Отравой снег ложится на траву...
Я — человек. Меня надежда мучит.
Я все еще надеждою живу.

И У Д А

Я ради самой ясной ясности
Свой долг и честь не уроню.
...Иуда ищет безопасности,
Иуда прячется в броню.

Он по своей закономерности
Для пушного отвода глаз

Направо и налево в верности
На дню клянется десять раз.

Он ни одной не мечен раною.
Он чист, как божий херувим.
Надежно личною охраною
Во сне и бдении храним.

Он сединой беды не выбелен,
От треволнений вдалеке.
Но кнопка всей земной погибели
В его зажата кулаке.

Земная ось скрипит. Меняется
Мир, к неизвестности спеша.
И вместе с ним летит и мается
Изверившаяся душа.

Я ПОВТОРЯЮ ВНОВЬ И ВНОВЬ

И все — как от стены горох
Во времена Гороха.
И превозносит пустобрех
Другого пустобреха.

И мир молчит. Не говорит.
И нет хотенья пенья.
Клеймо молчания горит
На истине терпенья.

Все первородные слова
Блистательной поковки,
Теряя добрые права,
Уходят по дешевке.

Смотреть и видеть нестерпим,
Как глупость разум учит.
И ложь рождает только ложь
И правду жизни мучит.

СОН БЕЗ ОКОНЧАНИЯ

Мне снился страшный современный сон:
Какой-то дикой силой унесен,
Я плыл, людьми и богом позабыт,
Через тоску бумажных волокит.
И мой корабль, решимости полна,
Легко несла бумажная волна.
Клубилась даль писчебумажных вод,
И набухал чернильный небосвод
Непроницаемую темнотой,
До грани горизонта залитой.
Саму бумагу растлевала тля,
И крысы убежали с корабля.
А я один напополам с грехом
Еще пытался крикнуть петухом.
Но голос мой беззвучно шелестел
В бумажном горле...

В МЕСТО ЗАВЕЩАНИЯ

В селе Вязовское на старом погосте
Землею становятся мысли и кости.

Здесь память о предках моих небогата.
Здесь родина жизни моей. И когда-то

На старых могилах как дивное диво
Растут лопухи и бушует крапива.

Окончится дней моих длинная повесть.
Умолкнут стихи. Успокоится совесть.

И в переплетении света и тени
Колышутся заросли белой сирени.

Друзья разойдутся. Разъедутся гости.
Найдите мне место на этом погосте.

И церковь, окутанная сиренью,
Привыкла давно к своему запустенью.

Пусть все, что в душе моей жизни звучало
Обратно вернется в родное начало.

ПОЭЛЬ КАРП

* * *

Прозаику нужны противовесы,
Пускай он сам не знает наперед,
Кто добр, кто зол, где ангелы, где бесы
И что за путь он дальше изберет.

Зато ему доподлинно известно,
На кой он ляд берется за перо,
И в трудный год, оставшись вдруг без места,
Не зря он будет шуриться хитро.

Поэт и впрямь не ведает сначала,
О чем пойдут невнятные слова,
Его душа, как лодка у причала,
Бессмысленно качается сперва.

Он прismatic, он понял: в этом весь я,
Он прокликает подлый жребий свой,
Покамест, выйдя вдруг из равновесья,
Не окунется в омут с головой.

Не сыщет он себе противовеса,
Его, как щепку, вытолкнет вода.
И незамысловата эта пьеса,
А вот, поди-ка, нравится всегда.

И долго бродят робкие вопросы
В умах у тех, кто спасся от греха,—
Откуда рос подспудный хаос прозы,
И чем жива гармония стиха?

* * *

Корабль трехмачтовый в туземном порту
Под всеми стоит парусами.
С поклажей разделаться немоготу,
И все же справляемся сами.

А ты говоришь: это сон, это ложь,
Мне этот корабль только снится.
Ты медленно руки на грудь мне кладешь,
И тихо сдвигаются лица.

Корабль набирает дыханье сперва,
Счастливый и гордый заране,
Он ждет отправления, как торжества,
Не думая, что в океане.

А ты, разгоняя недобрые сны,
Опять улыбаешься кротко,—
И спать как убитые мы бы должны
Под грохот всего околотка.

Корабль отбывает в неведомый свет,
Как водится в юности ранней.
А ты повторяешь: прекраснее нет
Обыденных наших свиданий.

Уходит корабль под покров темноты,
Его никогда мы не встретим,—
И я просыпаюсь,—а ты где? а ты?
И день начинается этим.



ПЕТР КОБРАКОВ

О ВОЛЧИЦЕ

...Разве животное непременно должно
приносить человеку утилитарную пользу,
чтобы за ним признавали право на суще-
ствование?

Джералд Даррелл

Мы шли вдвоем.
На нем — оленья шуба,
Оленьей шкуры шапка и пимы.
И перед тем, как выйти нам из чума,
Олениной закусывали мы.

Свой дивный мир нам раскрывало утро.
Шагали молча мы. Был ранний час.
Седая, настороженная тундра,
Копыта снег, надеялась на нас.

Опять всю ночь,
Сама себе не рада,
Голодная,
Волчат голодных мать,
Волчица зло ходила возле стада,
Хоть что-нибудь желая подобрать.

Но в наши дни судьба ее нелепа,
Опасен сторож с палкой огневой.

И, скаля пасть, она глядела в небо
В созвездье Гончих Псов над головой.

Глядела так,
Что, если б небо свесить,
Приблизить к ней — чтоб рядом, на виду,—
Волчица бы впилась в рогатый месяц,
Хватала б жадно за звездой звезду.

Но для нее и небо не согласно
Из стада звезд одну хоть уронить.
Мне друг сказал:
«Волчица, брат, опасна...»
И мы шагали, чтоб ее убить.

Лучилась солнца ясная корона,
И все никак не взять мне было в толк:
Их волчий род отныне — вне закона,
Но для чего-то нужен ведь и волк?



В. Алексеев.
Зима в Михайловском. Офорт.

СЕРГЕЙ КОБЫСОВ

УСТЬ-РУДИЦА¹

Когда-то здесь, плотиной сжав ручей,
Месили глину мужики босые
И, обжигая руки у печей,
Стекло цветное добыли России.

Крутила с ревом мельницу река,
Умельцы глину терли на рогоже,
На утомленных смердов свысока
Глядели равнодушные вельможи.

То красное, то синее стекло
В изложницы из обожженной массы

Струю удивительной текло,
Чтоб превратиться в солнечные вазы.

Был первый химик истинный поэт:
Из дымных ям семнадцатого века
Сквозь бисер и стеклярусы тех лет
Он будущее видел человека.

Сжигая в колбах пригоршни песка,
Он сам дивился красочным узорам.
Течет, течет Усть-Рудица река,
Сподвижница великого помора.



МАРИЯ КОМИССАРОВА

БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

И отчуждением обращенный в дуб
Чужой, как мельник пушкинский,
художник.

Б. Пастернак

Быть может, не хватит и пороку мне,
Не те слова подвернутся под руку,
Пусть будет, что будет,— я в здравом уме,
А все остальное — побоку.

Попытка не пытка. Заденут — смолчу.
Отляжет от сердца — опять за работу.
Сестра моя жизнь, не побрезгуй заботой!
Я песню по бревнышку сколочу.

Откуда и знать мне, какими стопами
Положено слову раскинуть пути!
Две разные правды сшибаются лбами.
Что ж, вправе в эпоху одна лишь войти?

¹ Усть-Рудица — речка вблизи г. Ломоносова.

Откуда мне знать колыханье грозы,
Когда она сердце поэта колышет?
Ему эта музыка — не для красоты,
Не наигрыш славы, не бег на призы.
Ему это воздух, которым он дышит.

Ему это начерно найденный след
Стиха ли, поэмы ль,— не наигрыш славы.
Ему это найденный за ночь ответ
На то, что вчера еще путало главы,
Вчера еще было похоже на бред.

Сегодня ж свидетельствуй, стих мой, ручайся,
Что верное слово в друзьях у него,
Что шел он к нему не дорогой кратчайшей,
А трудности ставил превыше всего.

Опомнися после — орла проморгали!
Наверстывай, время, крутой поворот
Метафор и ритмов, летящих кругами,
На скорость берущих любой оборот...

Как можно подумать, что весь этот натиск
«Стихи и стиха» — отчуждение и рознь!
Не время ль проверить путевки понятий?
Мы выучкой века прошиты насквозь!

Не будет на карте ваш путь обойденным.
Свидетельствуй, стих мой, собранью живых:
Не пушкинский мельник, не дуб отчужденный,
Он — сверстник эпохи в рядах молодых!

1931

* * *

Я в заколдованном кругу
Себе самой не помогу,
Сама себя во всем виню,
Сама себя сквозь строй гоню
Ненастных дней и непогод
Из года в год
Который год!



ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ

КОЗЕЛ

На бойне мясокомбината,
Где и в зарю царят закаты,
Где кровь, как в годы Тамерлана,
Дымится, ноздри щекоча,
Где овцы тычутся в баранов
И бугаи дрожат, мыча,
Где уж не грезят клеверами
И ароматом тихих сел,
Живет с потертыми боками,
С осанкой властной козел.
Он испытал все передраги,
Его не тронет страх ничей.
Ему загонщики-деляги
Суют огрызки калачей
И чешут бороду с охотой.
Порой бодрят:
«За дело, друг!»
И, как привычную работу,
Он вьет с утра за кругом круг.

Начнут плясать бараны в страхе
И слышат:
«Мэ-э-э...»
Он тут как тут.
Шагает первым бодро к плахе —
И те... и те за ним идут.
Через тоску свою и ужас
Идут, как через речку вброд.
А переход все уже, уже,
В нем невозможен поворот.
И бесполезно, дыбясь, прыгать,
Боками стиснуты бока.
И лишь козел для них — как выход
Из мрака этого в луга,
К прохладным утренним туманам,
К пахучим тенивым лесам.
Они не чувят в нем обмана,
Он впереди шагает сам.
Они за ним идут лавиной,

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ

Побед и бед неповторимый опыт

«Ленинградские писатели-фронтовики. Автобиографии. Книги. Автор-составитель Владимир Бахтин». Эта книга, выпущенная издательством «Советский писатель» к сорокалетию Победы, уже получила широкий отклик в печати. Прочитав, не спешишь с ней расстаться. Все время держишь под рукой, вновь обращаясь к жизнеописаниям литераторов. Одни не дожили до победного дня, пали на фронтах Великой Отечественной, погибли в

блокаду. Другие ушли из жизни после войны. Но, к счастью, есть и те, кто продолжает работу сегодня.

Вглядываюсь в фотографии, в непривычно молодые лица — ведь многих из писателей узнал позже.

Ольга Берггольц с медалью на лацкане пиджака. Фотография небольшая, и не каждый разберет, что за медаль, но мы-то, ленинградцы, знаем — «За оборону Ленинграда».

Он Бонапарт для них и Бог.
 Но перед самой гильотиной
 Козел сворачивает вбок.
 И там ему подносят клевер,
 А иногда и рафинад.
 А стадо прямо на конвейер
 Плышет, плывет в кромешный ад.
 И лишь на миг в очах бездонных

Вдруг вспыхнут черные леса...
 А через час выходит в тоннах
 С конца другого колбаса...
 Гляжу на мир и часто вижу,
 Как вспышку жуткую во тьме,
 Козлиный бок, от крови рыжий,
 И слышу где-то рядом:
 «Мэ-э-э-э...»



НИКОЛАЙ КУТОВ

В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ ФИРДОУСИ

Я читаю великих поэтов Востока,
 И, читая их, я не скрываю восторга.
 Тесно было поэтам в эпохе одной.
 Все звучат голоса мудрецов издалека
 Звонко, ясно, как будто бы струи потока,
 И года не встают крепостною стеной.

Не наложишь на вечные книги запретов,
 И волнует печаль, скорбь и радость поэтов
 Через тысячу лет после смерти творцов.

Вот один из бесчисленных жизни секретов:
 Смерти нет для таких мудрецов и поэтов,
 Красоты и добра, и свободы певцов.

Да, поэты тогда на земле умирают,
 Когда люди о них навсегда забывают,
 А пока не забыли, забвения нет.
 Все звучат, точно струны, напевные строки.
 Вновь и вновь продлеваются жизнью им сроки,
 Через годы все тянется памяти след.

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

Михаил Дудин. Наголо стриженный солдат, похожий на новобранца. И только в глазах печаль взрослого, уже много видевшего и пережившего человека: еще до Гангута, до блокадной эпопеи Дудин прошел испытание «жестким снегом» Карелии, «войной незначимой».

Женщины-воины. Полина Каганова, Надежда Полякова...

В автобиографии Сергей Давыдов пишет: полк, в котором он служил, был направлен на 3-й Белорусский фронт. В Каунасе встретил Победу. «День Победы отмечал как все — палил в небо из своего ДШКа. В сентябре

1945-го получил первый отпуск, приехал в Ленинград, пришел в комендатуру вставать на учет, а меня вдруг демобилизовали, как не достигшего призывного возраста.

Первое мое стихотворение, напечатанное в дивизионной газете, затерялось». Спустя годы о своем поэтическом дебюте Давыдов скажет так: «Меня заметил фронт, а не Маршак».

Каждый сказал свое слово, выразил свою судьбу. Вместе же произведения, созданные в «сороковые роковые», после войны, в наши дни, образуют значительную духовную целостность. Она, эта целостность, много скажет и

* * *

Мне искренность тиранит горло,
И мучит страх чужих ушей.
И если горбит плечи горе,
И если праздник на душе —
Я — трезво! — в горе и веселье,
В безумной ревности, в тоске —
Не всем делюсь и не со всеми,
А точно зная: чем и с кем.

Но, как в бреду, — пускай нечасто —
Я, страх преодолев, парю!
Махнув рукой на все несчастья,
Я только правду говорю...

Казнись! Всего себя измучай
За искренности гордый бред.
Тебя предать — найдется случай,
И поздно — быть умнее впредь,
И поздно — вымолить прощенье
За все, что у судьбы просил...

Как тяжек божий дар общенья!
Но и молчанье — выше сил.

1971

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

о развитии нашей поэзии, и о жизни человека, главным событием в которой стала война.

Поэтому я читаю и перечитываю книги поэтов-фронтовиков будто и дневник своего отца, если бы он писал стихи, и если бы не умер после тяжелого ранения, полученного под Пулковом. Пытаюсь представить себе, что он чувствовал, переживал в те фронтовые дни и ночи, как бы он (и мы вместе с ним!) встретил День Победы и как бы дальше сложилась его судьба.

22 июня 1941 года, вслед за правительственным сообщением о нападении фашистской

Германии на Советский Союз, по радио несколько раз прозвучало стихотворение Юрия Инге «Война началась!» — о верности присяге и вере в победу. С произведений, датированных июнем сорок первого, берет начало поэтическая летопись мужества. Она включила в себя немало достойных произведений, хранящих жар событий, высокий накал мыслей и чувств:

Продолженьем стихов
Отвечают врагу батареи.
Всплески залпов, как рифмы,
Сбиваясь, летят за «кольцо».



АНДРЕЙ ЛЯДОВ

ДА НА Я

Теперь мне кажется — лет двести
Прошло с июльской ночи той
В уральском городе Асбесте,
На тихой улочке крутой...
Я шел, постукивал негромко
Подковками на сапогах,
Когда заливистая «хромка»
Рванула вдруг в пяти шагах.
Их было полтора десятка,
Асбестовских фабричных фей,
И в женских пальцах та двухрядка
Была — не курский соловей.
Признаться, я невольно вздрогнул,
Когда по улице, в пыли,
Пошла шальная фея дробью,
А следом две еще пошли.
На свадьбе в пору так плясать бы...
Но отчего же, отчего
Ни жениха на этой свадьбе,
Ни свата нет ни одного?
Видать, прийти бы рады были —
Обнять гармонию, поднять стакан,
Да тропы ливни поразмыли,

Да степи понакрыл туман,
Да переправы поносила
Крутая вешняя вода...
Не всех своих солдат Россия
Смогла тогда вернуть сюда.
Я спохватился слишком поздно:
Вокруг меня, смеясь в лицо,
Сомкнулось озорно и грозно
Разгоряченных тел кольцо.
— «Глядите, девоньки, находка —
И нам партнера бог послал!»
— «Эх, жаль, что ночьенька корóтка,
Да и мужик-от больно мал!»
— «Ничё не мал! На всех не хватит,
А мне бы был как раз под рост!..»
— «Что скажешь, Катя?»
— «Верно, Катя,
Давай-ка закругли вопрос!»

И эта Катя, гармонистка,
Прижав двухрядочку к груди,
Сказала:

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

Путь далек до застав,
Мы проспектом идем, как траншеей.
На любом перекрестке
Патруль узнает нас в лицо.

Строки поэта-сапера, поэта-газетчика Бориса Лихарева точно воссоздают приметы жизни блокированного города, свидетельствуют о работе художника в военную пору. Они — о слитности слова и борьбы. Кажется, исчезала граница между литературой и жизнью, поэзией и правдой.

С гордостью показывал мне Дудин чудом сбереженную подшивку газеты «Красный Гангут», изданную в осажденном Ленинграде кни-

гу его стихотворений «Фляга» и те страницы в энциклопедии «Великая Отечественная война», где сказано о нем не только как о поэте, но и как об отважном бойце-разведчике: «Ведь я первым на полуострове привел вражеского „языка“».

«Пожалуй, не было ни одного большого боя на Ленфронте, где бы я не находился в качестве военного корреспондента, — писал в автобиографии Виссарион Саянов. — Выступал не только в печати. Вносил ряд предложений военного характера... В 1942 г. в связи с одной моей запиской меня вызвал для беседы командующий фронтом... Говоров».

«Кланяемся низко,
Одну хотя бы проводи...
Прости нас, глупых баб, все шутим,
На то есть в месяц два числа.
Ступай».
И трезвые до жути
Глаза поспешно отвела.
А в мире — чуткое затишье,
И надо перейти между...
Я верю, Катя, ты простишь мне,
Что я об этом расскажу.

Я непослушными губами
Пробормотал:
«А с кем из вас
Пойти?»
И Кате:
«Можно с вами?»
Смех снова вспыхнул. И погас.
И Катин голос, хрипловатый,
Тревожный, медленный, грудной,
Сказал:
«Вот вам гармонь, девчата...
Ну, что ж, идемте, коль со мной».

Мы долго шли, свыкаясь шагом,
По травам, скользким от росы,
Сбивалась где-то за оврагом
Ее гармонь — одни басы...
Мы десять верст к тебе шагали,
Река негромкая Пышма,
А посреди лесных прогалин

Уже дотаивала тьма.
Мы рядом плыли по низине,
Как два потерянных весла,
И шутка, что свела нас ныне,
Все меньше шуткою была.

Там, где Пышма вильнула круто,
Зажгли мы бойкий костерок...
Вмещала каждая минута
Сто лет, сто рек и сто дорог.
Вопросов молчаливый ворох
В огонь бросали мы шутя...
Встал день.
О том, как он мне дорог,
Узнал я много лет спустя.

Шел дождь слепой.
Она разделась,
Шепнув сначала: «Не гляди!»
Пошла к воде и — где вся смелость? —
Скрестила руки на груди.
Но я глядел, запомнить силась
Тех плавных линий колдовство,
Что пряталось в нелепый ситец
И ждало часа своего.
Глядел. И, этот взгляд услыша,
Она мне улыбнулась вдруг,
И взбила волосы повыше,
И больше не скрестила рук.
Каким-то древним чувством зная,
Что миг прекрасен, — значит, стой,
Так и стояла, как Даная,
А сверху — дождик золотой...

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

Стих продолжал судьбу поэта. А сама судьба была связана с войной. Отсюда — особая достоверность строки. Читая такие стихи-монологи Павла Шубина, как «Шофер», «Полмига», не можешь отделаться от чувства, что это сам поэт вел машину от Волхова до Керести, забрасывал гранатами проклятый вражеский дот: «Чтоб стало в нем пусто и тихо, чтоб пылью осел он в траву! Прожить бы мне эти полмига, а там я сто лет проживу!»

«Я порохом пропахнувшие строки из-под обстрела вынес на руках», — сказал о своей музе поэт и танкист Сергей Орлов. Да разве только о своей?!

Освобожденный по состоянию здоровья от службы в действующей армии, записывается в народное ополчение Александр Гитович, пишет очерки и корреспонденции для фронтовых газет. Пробирается к танкистам на передний край и в считанные минуты перед боем создает репортаж о встрече с бойцами. Летает на бомбежку объектов противника:

И если уж газетчиками были
И звали в бой на недругов лихих, —
То с летчиками вместе мы бомбили
И с пехотинцами стреляли в них.

Вот так он и идет лет двести,
Тот летний дождик над Пышмой,
И женщина на том же месте
Стоит, дивясь себе самой.
И взгляда женщины, что полон
Тревоги, робости, тепла,

Не замутят ни злобы холод,
Ни сплетен черная смола.
Так и стоит она, нагая,
Как плодоносный дождь свежа,
Весь тлен, всю мерзость отвергая,
Высоко голову держа.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

* * *

Т о г л а в н о е, что было на веку,
пожизненно томит воображение,
и снятся до сих пор фронтовику
окоп, атака, ужас окруженья;

блокаднику — бомбежка, и скольжение
с ведром к воде, где труп вмурован в лед,
и метронома мерное движенье,
ведущее минутам жизни счет...

А мне — бредущий сквозь пургу этап,
и гибель тех, кто болен или слаб,
и хлюпанье болота под лежневкой,

стрелок на вышке, бдительный конвой,
и шмон, и вставший на поверку строй,
и автомат, что взят на изготовку...

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

Едва живой от голода и усталости приходит из Ленинграда в Колтуши в редакцию газеты Всеволод Рождественский, и вскоре на ее страницах будут напечатаны строки поэта, наполненные ненавистью к захватчикам и любовью к родине, Ленинграду:

Я счастлив тем, что в пламени суровом,
В дыму блокад,
Сам защищал — и пулю, и словом
Мой Ленинград!

Николай Браун участвовал в боях под Таллином, в драматическом походе военных

кораблей по водам Финского залива. Чудом спасенный, он встал в ряды защитников города.

В городе, где, казалось бы, безраздельно должны были царить голод, смерть, звучала поэзия — со страниц газет и по радио. В Ленинграде, испытывавшем острый недостаток в бумаге, продолжали печататься книги. Со стихами в блокадную пору выступили Ольга Берггольц и Александр Прокофьев, Александр Гитович и Михаил Дудин, Николай Браун, Всеволод Рождественский и Виссарион Саянов, Борис Лихарев и Вадим Шефнер, Елена Рывина и Людмила Попова...

Игорю Михайлову исполняется семьдесят пять лет.

«Родился я с разжатыми руками. Решила огорченная родня... он брат не будет, только отдавать!» — написал он о себе. Действительно, одна из главных черт его характера — доброта. Поэт не раз имел право сказать: «Я на улыбку место променял». Увы, жизнь не всегда отвечала ему тем же. За желание вызвать улыбку окружающих ему довелось расплачиваться не только местом в автобусе.

«Полугорох, полусупец...» — так, перефразировав эпиграмму Пушкина, начал Игорь Михайлов шуточные стихи о солдатском довольствии в той части, где служил. И еще: «Считаем роскошью махорку и колбасу волшебным сном. И чай, похожий на касторку, из жирных кружек жадно пьем». Эти именно литературные упражнения, как рассказывает сам Игорь Михайлов, дорого ему обошлись: в 1941 году он был репрессирован. Тюрма, ссылка... Лишь в середине пятидесятых вер-



М. Беломлинский.
Игорь Михайлов. Дружеский шарж.

нулся он в Ленинград, где когда-то родился. Однако как поэт Игорь Михайлов рождался трижды: первый раз в 1939 году, когда журналы «Звезда» и «Октябрь» напечатали две его поэмы, второй — после возвращения из ссылки, а третье свое рождение поэт переживает сейчас: в нескольких журналах публикуются — наконец-то! — его лагерные стихи, теперь они дойдут до читателя.

Игорь Михайлов не теряет ни оптимизма, ни жизнелюбия, ни способности противостоять злу. Вот строчки, написанные им давно, но удивительно созвучные общему настроению сегодняшнего дня:

Слова стихов, потерянных в войну,
из мрака памяти назад верну...
...Так погорелец бревна день за днем
кладет упрямо, чтоб такой же дом,
как будто не горевший никогда,
возник на месте отчего гнезда...

Успехов Вам, Игорь Леонидович, успехов!

Нора Яворская

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

Слово ценилось высоко. И можно понять гордость Ольги Берггольц, испытанное ею чувство сопричастности, когда она узнала об отклике ленинградцев-блокадников на ее стихотворения, которые были (буквально!) приравнены к горестному и скупому хлебу насущному.

Большинство оставшихся в осажденном городе писателей служило в армии и на флоте. Многие из них погибли. В августе 1941 года — Юрий Инге, в ноябре — Алексей Лебедев, в декабре — Михаил Троицкий. В феврале 1944-го при переправе через реку Нарову был убит Георгий Суворов, так сильно сказавший

в одном из последних стихотворений о судьбе поколения: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей».

Стихи военных лет... Одни из них и в наши дни хранят энергию, страстность мысли и чувства, другие воспринимаются как документ истории, штрих к героической летописи обороны города.

О судьбе и работе поэта в военную пору — стихотворение Лихарева «Откровенное слово»:

Мой отыщется след
Там, где шли мы в походы,
И в подшивках газет
За блокадные годы.

ПАМЯТИ Е. М. ТАГЕР

«Все равно умру в Ленинграде»,—
Вы упрямо писали в тетради,
когда Вас по этапу вел
дикий сталинский произвол.

Пересылка... Снежное поле...
Юность, выжженная дотла...

Воля, гордая Ваша воля
поддержала Вас, сберегла.

Было Вам — справедливости ради —
это горькое счастье дано:
да, Вы умерли в Ленинграде,
здесь Вы умерли —
«в с е р а в н о»!



ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

Пожалуй, не было поэта, который не отдал бы щедрую дань публицистике, агитационной работе, не писал бы стихотворных призывов, портретов, плакатов, очерков... Многие из таких произведений действительно остались в «подшивках газет»: в свое время они выполнили нужное дело. Однако нередко уже в таких агитационно-публицистических стихотворениях начинали пробиваться ростки лирической исповеди. Так, Александр Прокофьев написал стихотворение о подвиге девушки-снайпера Ольги Макковейской, большую часть которого посвятил красоте юности, жизни, мира — всему тому, во имя чего шла борьба:

Давно ль по жердочке-колодинке
Ты пробегала до ручья.
Давно ль ходила ты в коротеньком,
Сама от счастья не своя?
Давно ль запевки колыбельные
Все до одной распела мать?
Теперь за сосны корабельные
Ты прибежала воевать.

«Чтоб ненависть была сильнее, давай говорить о любви»,— так определит свою поэтическую программу в годы войны автор «России» и будет писать о любви к миру, раскинушемуся под широкими ярусами радуг, о ручь-

ЗАПОЗДАЛЫЙ ПРОРОК

Недотепа, чудак, оборванец всего лишь,
ну кому интересно,
 что там глаголешь?
Отойдите от нас,
 прорицаний соблазны,—
свой итог
 мы заранее знать не согласны!
И бредет, ковыляет,
 не узнанный родиной,
ни друзей, ни врагов
 на земле не нашедший,
запоздалый пророк,
 кликлуша, юродивый!
Запоздалый пророк,
 городской сумасшедший!
Он идет... А зачем —
 понимает едва ли.
Чтоб мальчишки на «ты»
 его называли...

Чтоб дойти, может быть,
до такого-то года...
Чтобы просто не вывелась
эта порода...
Ни к чему ему лавры,
регалии, почести.
Но! — не существует пророка
без площади!
Где оно, площадное
голодное эхо?
Нет пророка без отзвука,
без ответа!
Где ответ?..
Он и за морем не отыщется...
Схороните здесь
иссохшее тело.
Потому как
пророка нет без отечества,
без того, что услышать его
не хотелось!

* * *

На парадах пушки и танки
утверждали, что он велик.
Ну, а нам доводилось
с изнанки созерцать
всемогуший лик.

Было в комнате, как в колодезе,
утром праздничным
полутемно:
заслонив первомайское солнце,
он заглядывал к нам в окно.

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

ях, отразивших голубые огни звезд, о склоненных к воде ивняках, о красных шапках рябин:

Так это ж, товарищ,
Россия,
Отчизна и слава твоя!

Во фронтовой лирике заявила о себе резко и беспрекословно правда жизни, переживаний солдата на фронте, «дневниковые» подробности судьбы человека на войне. Эта правда не чуралась даже физиологических штрихов, натурализма. «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях», — так начиналось дудинское стихотворение 1942 года. Поэт запечатлел страшную

будничность войны, одновременно душой откликаясь на проблески прекрасного. «Под пеленою пелла протухли трупы и свернулась кровь», — писал он, но: «Смотри — Весна. И над равниной русской молочно-лиловатый свет».

Такая поэзия подспудно полемизировала с тем, что и как писалось о предстоящей схватке с фашизмом в предвоенные годы, перечеркивала трескучую риторику, песенное легкомыслие.

Однако процесс духовного прозрения, обновления поэзии нельзя свести лишь к беспощадной правдивости. Перемены, запечатлев-

Был недвижимым и черно-серым
этот глаз, наведенный на нас.
А другой

таким же манером
доставался соседям как раз.
Видел он каждый гвоздь, каждый сверток,
фото каждое видел он,
видел он и живых и мертвых,
да и зачатых видел он.
Он смотрел в нашу жизнь,
огромный,
настороженный глаз,
наши помыслы зная и помня
ну конечно же лучше нас.

И внушили нам с самого детства:
если глянул он косо вдруг,—
значит, правда, что враг
отец твой,
значит, правильно сослан друг.
Мы со щедрою верой ребячьей
полагали, что видит за нас
и всевидящий
и незрячий
нарисованный
этот глаз!..

1956

* * *

Сон о жизни прошедшей
вдруг нахлынет. И снова
точно дождик прошепчет
невнятное слово.
Вроде всё до последней
капли зная заране,
входишь в перечисленье,
нет, в перегоранье.
Жаждет, не отработав,
быль — уже небылица —
предъявления счетов! —
Жесты, возгласы, лица...
Несвершенного вздохи...
И свершенного стоны...

Призвук тяжкой истомы
в отголосках эпохи.
Не досматривать вправе
сон, которым владеем,
но — реальнее яви!
И горим сновиденьем.
И влечет каруселью,
дуновеньем соблазна...
Ядовитое зелье!
Терпко и неотвязно.
А таится — в огарках,
в осколках, в повторах,
безутешных и жарких,
прозреваем в которых.

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

шиеся в лирике, были более глубинными. Война заставила решительно отказаться от исторического нигилизма, восстанавливала перерубленные было национальные, патриотические традиции, заставляла все чаще задумываться о кардинальных вопросах человеческого существования.

Именно на скрещении вечных тем — жизни, смерти, любви — и злобы дня возникали самые значительные произведения советской лирики — «Землянка» Алексея Суркова, «Жди меня» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Константина Симонова, «Соловьи» Михаила Дудина, «Зеркало» Вадима

Шефнера, «В те дни» Сергея Наровчатова, «Его зарыли в шар земной...» Сергея Орлова...

Сейчас для нас такие стихи — несомненная советская классика. Однако не столь единодушным был отклик первых читателей.

Дм. Хренков вспоминает, как сгустились тучи над автором и редактором газеты «Знамя Победы» Л. Прусьяном после публикации «Соловьев»: «Прочитав стихотворение, начальник политотдела армии вызвал редактора газеты.

— Зачем вам понадобилось славить смерть на войне? — ткнул он пальцем в газету с «Соловьями».

На обложке — заснеженные городские крыши и Т-образные телевизионные антенны на них. И размашисто на фоне пасмурного ленинградского неба: «Глядя в глаза». Знаю, что на последней странице, там, где выходные данные, написано: «Оформление автора». Это первая книга поэта. Автору ее, Льву Мочалову — шестьдесят. Книге — за тридцать. Но время не потеснило ее в глубину стеллажей. Она по-прежнему на первой линии — чтобы можно было протянуть руку и сразу найти. И знаю, что так — не только в моем доме.

Не побоюсь сказать, что книга эта очень много значила для нашего поколения. Точнее даже — не столько сама книга, сколько стихи Льва Мочалова, печатавшиеся в ленинградских газетах и журналах тогда, в середине пятидесятих годов, и потом составившие его первый сборник. Они казались необычными. И не только потому, что автор в большинстве случаев использовал «маяковскую» лесенку.



М. Беломлинский.
Лев Мочалов. Дружеский шарж.

Необычным был — особенно на фоне привычной тогдашней патетики, нередко переходившей в риторику, — сам угол зрения на мир, внимание к повседневности, к быту, к внутреннему миру человека. Не того, который «по полюсу гордо шагает», а того, который шагает с утра на работу, живет в коммунальной квартире, отмечается «в положенный срок» в военкомате, ходит в кино, растит детей. Бывало, поэта ругали: как же — в эпоху великих свершений написал стихи — о чем?! — о том, как семья купила зеркальный шкаф!

Он воцарился,
оком-оком
зеркально предметы
охватывая,
и наши отражения в нем
подробные
и кривоватые...

Очевидно, критики не дочитывали стихотворение до конца. Не чувствовали умной

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

— Стихи не о смерти. О торжестве жизни они.

— Ах, вы еще спорите! Придется наложить на вас взыскание.

Обескураженный Прусыан возвратился в редакцию. Начальник политотдела пользовался среди журналистов уважением. Философ по образованию, он обладал высокой культурой и немало сделал для того, чтобы сберечь в частях армии талантливых людей. Тут, видно, нашло затмение...

Думаю, что все к «затмению» не сведешь. В стихотворении выразилась новая, непривычная правда о войне, было сказано слово о

кровном переплетении жизни и смерти, гибели человека и возрождении природы. В нем содержалась философия судьбы солдата. Такая поэзия должна была утвердить себя, к ней нужно было привыкнуть, принять ее. Как приняли красноармейцы, хранившие вместе с письмами из дому вырезки из газет со стихами Симонова, Суркова, с главами из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Подобные «Соловьям» стихи-озарения становились своего рода визитными карточками поэта. К ним я отнес бы и «Зеркало» Вадима Шефнера, написанное в 1942 году, — о полуразрушенном ленинградском доме и зеркале,

иронии, обращенной к тому же шкафу и всем «глубокоуважаемым шкафам»:

И знает ли он,
о чем думаю я,
когда затихает квартира
и спит дочурка —
твоя и моя —
под пестрой
картою мира?

Как и многие мои товарищи, я видел эту карту мира над детской кроваткой. В те годы мы часто бегали к Льву Мочалову — послушать его новые стихи, почитать свое, выслушать его суждение. Будучи не столь уж многим старше большинства из нас, он обладал весомым авторитетом. Предостерегал от всяческой выпренности, ложной романтики: «Поэзия — рядом с нами, над нашими ногами,

а не где-то в отвлеченных сферах!» И от легких путей — тоже:

Надо делать то, что трудней,
остается все меньше дней.

Хотя нам казалось в ту пору, что «дней» впереди — бесконечное множество.

С тех пор у Льва Мочалова вышло много книг. Не только поэтических: он — видный искусствовед, автор серьезных работ по теории живописи и об отдельных художниках. Стихи его, как прежде, отмечены высокой культурой мысли и слова. И да простит меня поэт, что в год его юбилея я говорил в основном о его первой книге. С нее многое начиналось. И не только в творчестве самого Льва Мочалова.

Илья Фонаков

П Р И Т Ч А

Вначале было слово...
Нежданно, впопыхах
и как-то бестолково
оно упало в прах.
Но чей-то слух задело
порхнувшим ветерком.
И завязалось тело
невнятным узелком.
И выявилась форма
из малого зерна.

И хищно, и проворно
пространство заняла.
И, ничего не помня,
забвеньем налита,
плодится неумно, —
святая простота!..

И ценят — прохиндеи! —
материю, предмет.
А кто дает идеи,
того, как бога, нет!

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

висящем «над пропастью печали и войны». «В стеклянной глубине» оно еще хранит «тепло дыханья и улыбку чью-то», но

Теперь в него и день, и ночь глядится
Лицо ожесточенное войны.
В нем оружейных выстрелов зарницы
И зарева тревожные видны.

Его теперь ночная душит сырость.
Спят пожары дымом и огнем.

Но все пройдет. И, что бы ни случилось, —
Враг никогда не отразится в нем.

Один из эпизодов жизни блокадного Ленинграда стал толчком для создания глубокого стихотворения о трагедии города и вере в победу.

Поэты-фронтовики пришли ко дню Победы с богатым и новым духовным опытом. Они ждали наступления мира, приближали его своей борьбой с захватчиками. И очень трудно обживались в нем. Об этом — дудинская поэма «Вчера была война» (1946). Наверное, в послевоенной поэзии нет другого произведения, в котором бы с такой же искренностью, с таким драматизмом были выражены чувства и переживания фронтовика, оказавшегося на

* * *

Сам с собою ведет разговоры
Славословец недавней поры:
«Долго я поднимался на гору,
И как быстро сошел я с горы.

Небо теплым и радостным было
И надежной земля под ногой,
Показалось вдруг: небо остыло
И качнулась земля подо мной.

Я пытался слова боевые
Возглашать — неужель невпопад?
Но слова, словно гири на вые,
Беспощадно тянули назад.

Даже те, что бывали со мною
В дни торжеств и в обычные дни,
Повернулись поспешно спиною.
Что же, правы, выходит, они?

Думал — все образуется скоро.
Где ж судьбы моей прежней дары?
Я смотрю на шагающих в гору
У подножья желанной горы».

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • *Побед и бед неповторимый опыт*

пороге мирной жизни. Он весь еще там, на фронте, в воспоминаниях о гибели боевых друзей, о блокадном, насквозь промерзшем городе, о штурме Вороньей горы. Ему нелегко обрести себя в реальности мирной жизни. Так трудно, что казалось — и для него, и для его сверстников все в прошлом, во вчерашнем военном дне: «Мы лишь костями выстлали дорогу, а сами не добрались до вершин».

От таких настроений спасали поэзия и чувство товарищества, дружества тех, для кого главным событием в жизни стала Великая Отечественная. С особой силой братство по-

этов-фронтовиков проявилось в 1947 году, во время первого совещания молодых писателей. Это была пора знакомств тех, кто чаще всего знал друг друга лишь по голосу, по опубликованным в печати стихам. Это был их праздник, но праздник, состоявшийся в нелегкое для поэзии и для всей литературы время.

Может быть, не все из них тогда по-настоящему ощутили, какую тяжкую и горькую обиду нанесли великому русскому поэту Анне Андреевне Ахматовой в недоброй памяти постановлении 1946 года. Может быть, не пришлось для них еще время осознать ту жесткую

У поэта Георгия Некрасова точная поэтическая «прописка»: Ленинград, Невская застава. Здесь сложилась его жизнь, здесь отстоялась она в добротном поэтическом слове.

Вот главные черты биографии: в 1929 году окончена школа ФЗУ, затем работа на заводе, институт журналистики имени В. В. Воровского. А потом пришла Великая Отечественная, и Георгий Александрович идет добровольцем, чтобы пером журналиста и поэта сражаться с фашизмом. И давшая путевку в жизнь Невская застава — как бы постоянно за спиной, постоянно на кончике пера. Уже много лет спустя после войны поэт исповедально скажет:

*Я много раз твой покидал порог,
Послушный зову жизненных дорог.
Вела вперед меня совсем не слава.
И где бы ни был — в сердце я берег
Твой образ, Невская застава.*

«Вела вперед меня совсем не слава» — хочется повторить еще и еще, ибо для Георгия



М. Беломлинский.
Георгий Некрасов. Дружеский шарж.

Некрасова это не поэтическая декларация, а, если хотите, символ воли, веры и любви к жизни.

И книги он называет: «За Невской заставой», «Утро твое», «Эстафета», «Шаги»... Книг много. Они не только о родной заставе, они, особенно сонеты последних лет, — о смысле жизни, тайнах бытия... Теперь ведь нет «заводских окраин», и читатель Георгия Некрасова — требовательный современный интеллигент и рабочий, человек, которого каждый день автор может встретить в метро, троллейбусе, библиотеке, Летнем саду. Между ними установилось

давнее и доброе взаимопонимание. Скажу больше: это читатель не только ленинградский. Поэт давно преодолел могучее притяжение такого гиганта, как Ленинград, и вышел в своем поэтическом признании на всесоюзную арену.

Георгий Некрасов в свои 75 находится в полном развитии творческих сил, с чем я от души и поздравляю старшего товарища по перу.

Вячеслав Кузнецов

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

и простую истину, что мирное время требует от человека, художника подчас не меньшего мужества, чем военная пора. Мужества, поддержки, нравственно взыскующего отношения к своей работе.

Впрочем, и уже на самом совещании писателей-фронтовиков было далеко не все гладко и безмятежно.

Не будем упрощать время, безоговорочно задним числом судить его. Уверен, многие поэты-фронтовики сами искренне желали отделаться от военных воспоминаний, «переклеститься» на мирные темы. В поисках новых

тем они будут колесить по стране, вглядываться в мирную жизнь. Однако сама по себе попытка перечеркнуть память о недавнем прошлом привела к слишком большим утратам, и прежде всего к нивелировке творческих индивидуальностей. Не случайно именно в те годы получает довольно широкое распространение коллективное стихотворчество. Совместно пишут Луконин и Гудзенко поэму о Курской магнитной аномалии, Дудин и Орлов сочиняют стихотворные передовицы для газет «На страже Родины», «Ленинградская правда». По этому поводу вспоминаются слова заме-



В. Алексеев.
Святогорский монастырь. Офорт.

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

чательного живописца Сергея Герасимова, который предостерегал молодых художников от коллективного писания полотен: «Можно сказать: «Я помню чудное мгновенье...», но нельзя сказать: «Мы помним...» Я помню, а он не помнит!»

Значительные перемены в поэзии, как и во всей нашей литературе, наступают в годы, предшествующие XX съезду партии и особенно после его работы. Прозвучавшая на съезде критика культа личности Сталина имела многие благотворные последствия. Преодолевалось небрежительное отношение к отдельной человеческой судьбе, индивидуальности, возрастал гуманистический потенциал слова.

О человеке надо говорить:
Или корить,
Или цветы дарить,
Но не молчать,
Когда он книги пишет,
Дома возводит,
Сталь идет варить...
О человеке надо говорить,
Пока он слышит.

В стихотворении Анатолия Чепурова выразился пафос нового времени, отмеченного возрастающим вниманием к каждой человеческой жизни. И как же говорить о человеке, неповторимости его судьбы и не вспомнить

НИНА ОСТРОВСКАЯ

* * *

Стали ливнями души родных,
И травой — их лица и руки.
Сорок лет фотографии их
Держат память войны и разлуки.

И для нас на зеленом лужке —
Словно сердце посыпано солью —
Тихо светится в каждом цветке
Красота, опаленная болью.

И растет без вершины сосна,
Вскинув к небу могучие ветки...

Не ко всем прикоснулась война —
Эти судьбы, как вкрапленность, редки:

Не теряли отцов и детей,
Не дышали пожаром и кровью,
В удаленье от бед и смертей
Сохранили очаг и здоровье...

Но, скользя на дорогах крутых,
Вспоминая, тоскуя и плача,
Мы порою счастливее их
И душою добрей и богаче.

СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ

Д А Й!

«Я сломал велосипед, —
покупай, отец, мопед!
Да копи давай рубли.
Как на что?.. На «Жигули»!

Дай полтинник — на кино!
Дай пятерку — на вино!

Дай сотнягу, — мне нужны
заграничные штаны!

Как известно, все растут.
Дай мне знания, институт!
Я уже зачислен в штат, —
дайте больше мне оклад!

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

прошлое, войну, которая для многих стала поворотным, рубежным событием! Тот же Чепуров сделал такое признание в другом стихотворении: «Я еще не вернулся с войны. Я с войны не вернусь никогда».

Так в советской поэзии завязывается диалог с памятью, который пройдет через три последних десятилетия.

Нам снится не то, что хочется нам,
Нам снится то, что хочется снам.
На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены, —

писал Вадим Шефнер в одном из стихотворений шестидесятых годов, и этот мотив пройдет через многие его произведения и сборники, определит гуманистическое звучание лирики поэта.

Непосредственно из опыта пережитого берет начало важная для всего творчества Шефнера тема. Поэт утверждает в своей лирике человека простого, казалось бы и не очень приметного, идущего в жизни по «ненагражденной, непарадной стороне», и показывает тот вклад, который вносят в общее бытие именно такие скромные люди, как они своим воинским трудом готовили, приближали победу. И

Я жениться захотел,—
дай квартиру, жилотдел!
Дай путевку, профсоюз,—
на курорте полечусь!»

«Ну а ты что дал стране?» —
«Ох, до этого ли мне?!
Я устал, увял, облез...
Дай мне пенсию, собес!»

П И С Ь М О

Уважаемый товарищ!
Как здоровье? Как жите? —
Чем, товарищ, отоваришь
уважение мое?

Слышал, дачку строить хочешь?
Все подкину — шифер, тес.
Ну а ты — на август в Сочи
мне путевочку подбрось.

Слышал, мать больна?
Прекрасно!
Тьфу, не то я...
Очень жаль!
Ты Дюму в обложке красной
мне добудь — и прочь печаль.

Звякну кой-куда недаром:
у меня в аптеке блат.
Человек, учти, НЕ ДАРОМ
человеку друг и брат!

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

жизнь многих оказывается в неразрывной связи с жизнью каждого.

Идея непрерывности бытия, столь настойчиво заявляющая о себе в поэзии Шефнера, не переходит в умозрительное построение именно потому, что она все время питается кровным опытом пережитого, увиденного в войну. И для меня очевидна прямая связь, скажем, такого программно-афористического произведения Шефнера, как «Непрерывность», и строк, навеянных памятью о фронтовой поре:

Стоит ли бывшее вспоминать,
Брать его в дорогу, в дальний путь?..

Все равно — упавших не поднять,
Все равно — ушедших не вернуть.
И сказала память:

«Я могу
Все забыть, но нищим станешь ты.
Я твои богатства стерегу,
Я тебя храню от слепоты».

«В нас ликуют и плачут военные годы», — напишет в те же годы Сергей Орлов, а с ним перекликнутся многие стихотворения Семена Ботвинника — о времени, которое «весомей было, чем свинец», о «блокадном трудном хлебе», о снах, в которых возвращается с



НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА

ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

1

Я знаю, до назначенного срока
Никто из этой жизни не уйдет.
Скажите мне, кто сжег усадьбу Блока
И тем поторопил его уход?

Был поворот истории глобален,
Глаза кому-то застилала мгла,
Чтоб не понять, кем был он, этот... «барин»?
А муза на подмогу не пришла.

Но крылья обожженные простерла
Над ним она, печальна и чиста,
Когда рубашка сдавливала горло,
Предсмертным бредом бредили уста.

Когда, устав от судорог, от пота,
Он различал почти из пустоты,
Как пламя грызло кожу переплета
И вспыхивали книжные листы.

Как, глядя на пожар, крестились бабы,
Метался пес в растоптанном саду,
Из красных луж выпрыгивали жабы
И корчились деревья, как в аду.

Скажите мне, кто сжег библиотеку?
Зачем он сжег? По глупости? Со зла?
Всю боль потерь мы адресуем веку.
Виновных нет. Но тяжела зола.

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • *Побед и бед неповторимый опыт*

фронта отец («одногодки поседели — он остался молодым»). И как выношенное убеждение, как наказ самому себе:

Память ни с чем не смешалась...
Сердце, навек сохрани,
как глубоко нам дышалось
в те опаленные дни.

Память... Это слово чаще других встречается в лирике поэтов-фронтовиков. И тех, кто дебютировал первыми книгами до войны, и тех, кто стал широко известен уже в пятидеся-

тые годы, и — что самое поразительное — тех, у кого сложились сборники стихов совсем недавно. Например, книга-дебют Павла Булушева увидела свет в 1978 году. В своей автобиографии Булушев вспоминает, что начал писать стихи еще в «долгие месяцы госпитальных лежаний». В послевоенные годы он занимался профессиональной журналистской работой и, кажется, не помышлял о лирике. Но настала пора, и то, что долго копилось, сдерживалось, жило в душе, потребовало своего слова. Оно и нашлось — простое, весомое, вызывающее доверие.

Великая Отечественная война — событие

Боюсь толпы. Толпа глупа и зла.
Топтала Грибоедова. Сожгла
Усадьбу Блока. Но любой, изъятый
Из той толпы, кричит: «Не виноватый!
Со всеми шел!..» Так глупые ягнята
Идут на бойню за хвостом козла.

Толпа стихийным бедствиям сродни.
И сколько одиночек ни вини,
Но подстрекатель в ней стоит особо.
Не будь его, толпу не занесло бы
На безрассудство оголтелой злобы,
Кричащей: «Рас топчи!», «Сожги!», «Распни!»

С годами беды видятся ясней,
И за спиной все больше трудных дней,
Толкали справа и шипели слева.
Как зерна отбирают для посева,
Ищу слова. Храни, судьба, от гнева
Слепой толпы, от растворенья в ней.

Она многоголова, но тупа,
Она тысячеглаза, но слепа.
Чужие крики повторять готова.
И гений, знавший все оттенки слова,
Сказал в конце «Бориса Годунова»:
«Народ безмолвствует». А не толпа.

ЮРОДИВЫЙ В ИСПОЛНЕНИИ И. С. КОЗЛОВСКОГО

Г. Л.

Лишь гений мог коротенькую сцену
На высший пик искусства возвести.
Юродивый и царь.

Кто знает цену
Людским страданиям на земном пути?

Земля одна, и солнце равно светит
На все деянья испокон веков.
За тем — Россия, трон.

Толпа — за этим.
Грехи и искупление грехов.

Юродивый, как долгий стон, раздельно
Ронял слова в смятенную толпу.

Замедленно тяжелый крест нательный,
Господень крест он подносил ко лбу.

Глаза белы, безумный лик недвижим.
А голос обесцвечен и высок.
Обидь его — и целый мир обижен.
Борис и он — равны.

А выше — бог.

Казалось бы, что нам от непропетых,
Рожденных стоном слов?

Но ранит боль!

Два гения писали образ этот,
А третий гений исполняет роль.

ВЛАДИМИР ЛАВРОВ • Побед и бед неповторимый опыт

грандиозное. Оно никак не укладывается в жесткие хронологические рамки четырех огненных лет. Вот уже многие годы она продолжает влиять на судьбы людей, на духовную атмосферу общественной жизни. Продолжается сложный процесс постижения ее нравственных уроков. А ведь эти уроки могли быть разными: разве постоянное соприкосновение с трагическими событиями, смертью товарищей не смогло бы поселить в сердце уныние, сломить волю к жизни? В творчестве же многих поэтов-фронтовиков ощутима бережная нежность ко всему живому. В стихах поэтов, прошедших испытание войной, все сильнее

звучит тема всечеловеческой отзывчивости, несущая убеждение, веру, что художник не может быть спокоен, если в мире проливается хоть одна слеза ребенка, вершится несправедливое дело, проявляется беззаконие.

Эту гуманистическую эстафету подхватило новое поколение в советской поэзии, поколение, как его назвал Виктор Конецкий, «невоевавших, но хлебнувших». Однако о нем — разговор особый.

И вдруг мне стало страшно:

ранил слух

Какой-то звук, и зренью стало тесно...

Два несовместных мира — быт и дух

Бок о бок здесь пытались жить совместно.

Как снизу вверх заставить дождь идти,

Как радугу поставить вверх концами,

Как на распустье, не избрав пути,

Пойти двумя различными путями

Одновременно,—

дух и быт нельзя

Связать навек под крышею одною...

...Шла Натали, улыбочиво скользя,

Какой была,— быть не могла иною.

Как будто изнутри освещено

Ее лицо загадочностью света.

Еще ей и представить не дано:

Какою быть должна Жена Поэта?

Порой казались громкими Ему

Звук клавишина, смех и разговоры,

Назойливо и часто ни к чему

К воротам подъезжали визитеры.

Быт оставался бытом,— мир иной

Имел свои заботы и приметы:

Беспечно ворковали за стеной,

Затягиваясь в узкие корсеты,

Читая принесенные счета

За кружева, за шляпки и за шали...

Не стены, а незримая черта

Меж Ним и теми, что Ему мешали.

...Опять улыбка, легкие шаги,

Душистых буклей мягкое касанье...

...Все ближние твои — твои враги,—

Жестоко проповедует Писанье...

Накинув шубу, Он спустился вниз,

Поняв еще до рокового мига:

Коротким замыканьем прервались

Здесь быт и дух — два несовместных мира.

ГЛЕБ СЕМЕНОВ

(1918—1982)

КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ

О, как вам дышится средь комаровских сосен?
Кладбищенский предел отраден и несносен.
Оградки тесные, как дачные заборы,
и пусть вполголоса, но те же разговоры.

Единственность свою опасно знать заране.
Над бегом времени, как Федра в балагане,
вы, так и видится, стоите без оглядки,
и стынут на ветру классические складки.

Уже успели всех угробить и занять.
Ваш черно-белый стих зашифрованной, чем память.
Дивились недруги надменной этой силе.
Четыре мальчика чугунный шлейф носили.

Великая вдова, наследница по праву
зарытых без вести, свою зарывших славу,
когда самой себе вы памятником стали,
не пусто ль было вам одной на пьедестале?

Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?
Беспамятство трудней открытого помина.
Вас восхваляют те, кто их хулит доселе.
Перед разлукою вы даже не присели.

«Чем меньше слов, тем больше слово...»

Глеба Семенова помнит и любит ленинградский читатель, знаток поэзии. И хотя при жизни поэта вышло всего несколько книг и печатался он редко и скупо, книга стихов Глеба Семенова «Прощание с осенним садом», выпущенная Ленинградским отделением издательства «Советский писатель» в 1986 году, была раскуплена моментально.

Как видим, наши жалобы на охлаждение публики к поэзии не вполне справедливы: настоящая поэзия не нуждается в рекламе, не устаревает, спрос на нее не падает, она нужна.

Глеб Семенов умер в начале 1982 года, за несколько лет до нынешних перемен. Вот кто обрадовался бы многочисленным

публикациям последних лет, хлынувшим на страницы наших журналов! С каким нетерпением листал бы он журнал, отыскивая в нем подборку стихов Ходасевича — своего любимого поэта! Как был бы счастлив увидеть напечатанным ахматовский «Реквием», стихи Гумилева, романы Платонова, Набокова.

О, как не хватает его сегодня тем, кто дружил с ним, как хочется обсудить с ним сегодняшние события!

Он, предпочитавший густую тень эстрадным подмосткам, заслоненный напористыми и самоуверенными собратьями по перу, не покривил душой ради успеха, литературной

И понимаются глухие ваши речи.
И занимаются сухие наши свечи.
Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем,
мы на казенный счет эпоху погребаем.

И вырастает крест на молодом погосте.
И топчутся вокруг непрошенные гости.
Но — согласились бы вы разве под раkitой,
в глуши какой-нибудь, быть без вести зарытой?!

1978

* * *

Запалят прошлогодние листья,
и потянет дымком между сосен.
Всколыхнется душа, затоскует,—
то ли старость уже, то ли осень.

То ли сизое воспоминанье
дочерна перетлелой невзгоды;
то ли вечная горечь России —
много воли и мало свободы.

Сушат хлеб, или топится баня,
костерок в чистом поле белесый,—
посреди безутешного мира —
дым отечества, счастье сквозь слезы.

1976

«Чем меньше слов, тем больше слово..»

карьеру,— не потому ли его стихи звучат
сегодня так современно?

Его поэзия выдержала испытание временем
и, не поблекнув, ни в чем не потеряв, перешла
в новую эпоху, оказалась созвучной ей. Это
произошло потому, что Г. Семенов не лгал,
не льстил своему времени, говорил о нем
суровую правду,— в этом, а не в славословиях
и высокопарном пафосе, и заключается под-
линная сыновья любовь к своей стране.

Поэзия Глеба Семенова стоит на страже
человеческого достоинства, приходит на по-
мощь мыслящему и независимому человеку,
разделяет с ним его боль,— она способна на
это, потому что осознает свое

...праздничное превосходство
над повседневным рифмачом!

В Ленинграде и Москве живут поэты,
воспитанные Глебом Семеновым. При всей не-
похожести их друг на друга и на своего учи-
теля есть нечто, роднящее Л. Агеева, В. Бри-
танишского, Г. Горбовского, А. Городницкого,
Л. Мочалова, Н. Слепакову, О. Тарутину,
В. Халуповича и других,— это привитое учи-
телем чувство поэтической чести, не способной
пойти на сделки с совестью.

Александр Кушнер

* * *

Сколько листьев замертво,
после схватки с ветром,
пало наземь, замерло
в сумраке рассветном!

Сколько было по лесу
ветрового сыска!
Сколько слухов понизу —
по земле российской!

1975

* * *

По памяти рисую: вот изба,
край изгорьды, церковь, и с обрыва —
тропинка... Я коснусь ладонью лба,
от мухи отмахнусь нетерпеливо
и, напрягая зрение, всмотрюсь...
...Нет, никакая вроде бы не Русь
и никакая даже не Россия...
Вот девки с коромыслами идут,
вот мы бежим с мальчишками босые,
вот вечный дядя Ваня тут как тут,—
не первая ли удочка в округе!
Я чувствую донныне, сколь упруги
чуть влажные нагретости тропы...
...Не Псковщина еще, пожалуй, даже...

А тетя Дуня за реку в грибы
ходила, и улыбочка все та же,
что и тогда, полсотни лет назад.
Кладбищенские тополя сквозят
на солнце, нестерпимая блескучесть
в листве тех незапамятных времен...
...Не Святогорский даже и район...
Отматерясь, отсовестясь, отмучась,
моей деревни дух и естество
погасли. По-немилому все ново,
запущено, расхищено, мертво...
...Неужто и народу-то всего
на родине, что у ларька пивного?!
1980

Р О Д И Н Е

Иду, столбы считаю,
ни встречи, ни привала.
Взметни воронью стаю,
чтоб даль не пустовала.

Да в час похмельной злобы
каблук в грязи оттисни.
Как мало нужно, чтобы
своим прослыть в отчизне!

Швырни проселок в ноги
от большака налево.
Да трактор у дороги
поставь ржаветь без гнева.

Как много нужно, дабы
мою судьбу сыновью
пронзило навсегда бы
той странною любовью!
1980

ПОБЕДИТЕЛЬ

Когда все кончилось победой
и не в кого уже стрелять,
когда все стало песней спетой
(не дай бог петь ее опять!),
когда, сменив парадный китель
на зависевшийся пиджак,
помылся в бане победитель,
в военкомат сходил и в жакт,
когда вернулся в цех завода,
когда вернул свою жену,
когда гитару из комода
достал и вспомнил старину,—
он от беды послевоенной
не отшатнулся:

он готов —
прикажут если — по две смены
трубить, спуская семь потов;
готов по карточкам поститься,
по ордеру приобретать
копейки стоящего ситца

для покрывала на кровать;
не приступать к жене: «Поведай...»
(сама поведает небось!),—
все кончилось такой победой,
с такой победы началось,
что не могли на белом свете
жить правда с кривдой пополам!
Еще в войну играли дети,
чернели вдовы по углам,
еще в вагоне инвалиду
попробуй кто-то не подать,—
а поглядишь кино —

и с виду
все вроде тишь да благодать;
а каково —

кто был солдатом —
вновь узнавать ее в строю:
вторую с краю, с автоматом,—
судьбу безусую свою?..

1952

ПАМЯТИ САМИХ СЕБЯ

Живем себе, кропаем и корпим.
Треск духовых оркестров нестерпим.
Ни полстроки в угоду не изменим;
мы будем воду пить за неимением
вина, есть голый хлеб, вдыхать густой,
благословенный смрад воспоминаний.—
Всегда кому-то столбик со звездой,
а десятеро — камня безымянней.

Закрытые, да есть ли нам число!
И нас в порыве доблести несло
топтать поля истории — мы тоже,
наверное, могли!.. Но, подытожа
нули успехов и нули потерь,
мы, видит бог, себя не омрачили
нехваткой славы: присно и теперь
у нас совсем другой вариант печали.

Свидетельствовать — тоже ремесло!
Чтоб бывшее — быльем не поросло,
не обросло легендой или сплетней,
скрипи, наш горб! На улице соседней —
то в память, то по случаю, то в честь —
при всем народе выцветают флаги.
И все-таки по пальцам перечесть
нас, лишних в триумфальной колыхаге!

Зато хоть удастся честно спать.
А примерещит ежели опять
казенный дом и позднюю дорогу,—
из-под простынь выпрастываем ногу
и тешим лицемерным холодком...
Ах! жить бы всем на берегу высоком,
не лязгать ни затвором, ни замком
и неба не выламывать из окон!

1968

ВАСИЛИЙ СОКОЛОВ

СТАРУХА

Вышла из лесу к свежему стогу.
Рядом поле, за полем жилье.
Час плутала, искала дорогу,
А дорога искала ее.

Манит стог: «Притулись, отдохни-ка!»
Недосужно ей — к дому пора.
Рдеет горкой в кошелке брусника,
Словно яркие угли костра.

А в корзине рыжеют волнухи,
Грузди желто лоснятся, как мед.

«Посчастливилось нынче старухе»,—
Скажет встреченный в поле народ.

Посчастливилось!
Доброе слово,
Место в сердце нашлось бы ему,
Да живет старухе бедово
В неприятном сыновьем дому.

Внучки замужем. В городе внуки.
Ни один ей поклона не шлет.
Сын до лютости предан сивухе.
А невестка — не ложные слухи —
Тунейдкой старуху зовет.



ВОЛЫТ СУСЛОВ

НА ЗИМНЕЙ ДОРОЖКЕ

Снег вáлит и вáлит,
Метет и метет,
Но только утихнет немножко —
Старушка лопатою в парке гребет,
В снегу пробивает дорожку.

Снег кажется легким, покуда летит,
А ляжет — поди-ка попробуй
Тяжелой лопатою сдвинуть с пути
Заносы его и сугробы!

Копает старушка, тропинку торит
И слышит: «Бабуля, с дороги!» —
По чистой дорожке вприпрыжку летит
Вихрастый бегун длинноногий.

Промчался.
Старушка копать норовит.
И снова: «Бабуля, в сторонку!» —
Теперь уже дама легонько трусит
За тем длинноногим вдогонку.

Старушка упряма. Лопатою снег
Кидает то влево, то вправо.
Ее обогнув, культивирует бег
Студентов шальная орава.

Бежит толстячок: от своей полноты
Желает избавиться вроде.
Дорожка — в кусты, и старушка — в кусты.
И сила уже на исходе.

Всем, видимо, нравится этот маршрут
На лоне январской природы.
Одни от инфаркта куда-то бегут.
Другие по прихоти моды.

Петляет дорожка среди белизны.
Все дальше, все дальше петляет..
По зимнему парку бегут бегуны.
Старушка дорожку копает.

НА ДИСТАНЦИИ

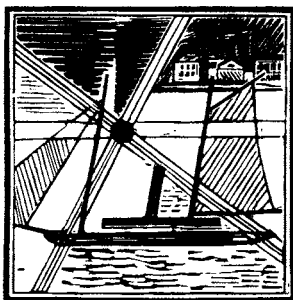
Бегун сказал другому на бегу:
«Когда бегу, я думать не могу.
В башке лишь график бега да режим».
Другой спросил: .
«А мы туда бежим?» .

ПАРАГРАФ

Знак восклицательный всегда стоит торчком.
Знак вопросительный согбенно ждет ответа.
И лишь параграф извивается крючком,
Поскольку он ни то, ни это...

НА ВЫСТАВКЕ

Среди эрделей и дворняг,
Болонок, шпицев, лаек
Хожу по выставке собак,
Смотрю на их хозяек.



ВЛАДИМИР ТОРОПЫГИН

(1928—1980)

И Г Р А В Д У Р А Ч К А

Не упрекайте за азарт,
за то, что снова, снова
передо мной колода карт!
Сыграем в подкидного!

Вот — козырь. Карты — на руках.
Начнем! Я, может статься,
всех вас оставляю в дураках...
И сам могу остаться...

О, славься, временный дурак!
Не тот, что век свой целый
играет Ваньку и никак
его не переделать.

Не тот, что прыгать подкидным
решился добровольно,—
кому не лень, кидайся им:
не плачет, хоть и больно.

Не тот, кому быть умным — страх:
не двинешься по службе,
а так вот, ходишь в дураках
и все кому-то нужен...

Не упрекайте за азарт,
за то, что снова, снова
передо мной колода карт!
Сыграем в подкидного!
1977

* * *

Возле Риги, в местечках окрестных,
черепица готических крыш.
И поэт заунывную песню
в Освенциме ослепший латыш.

Я не знаю в ней слов половину,
но не нужен сейчас перевод:
я ведь слышал, как нашу «Рябину»
инвалид по вагонам поет.
1950

«Показалось: стану одинок...»

Снова, еще и в этот раз, в «Дне поэзии» рядом с нашими стихами будут стоять неопубликованные стихи Владимира Торопыгина. Из какого дальнего ящика письменного стола извлекла их вдова, из какой забытой тетради...

В дни, когда эти стихи выйдут в свет, ему бы шестьдесят исполнилось.

Он всегда работал в редакциях. Со студенческой скамьи.

Известный поэт, он много писал — стихи и прозу, пробовал себя в драматургии, — но всегда его письменный стол был завален кипами версток, штабелями чужих рукописей,

которые необходимо было срочно прочитать. Но и этого ему было мало. Он постоянно звонил поэтам, просил прочитать ему новое и, если была удача, радовался, с жаром рассказывал друзьям, пусть немного преувеличивая, какое чудо ему только что прочитали.

Он работал в газете «Смена», редактировал «Костер», потом принял «Аврору».

У него печатались, тогда еще молодые, Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Виктор Максимов, Виктор Соснора. Смело можно сказать, что все наиболее интересные молодые печатались «у Торопыгина».

С ним дружили Михаил Дудин и Сергей

* * *

Еще и горе — не беда,
и ты уверен:
ты парень просто хоть куда,
к тому же стрелян!
Расправил плечи, горделив,—
былинный витязь!..
И вдруг в трамвае — словно взрыв:
«Отец! Садитесь!..»

1977

* * *

Может быть, закрыть глаза однажды
и — не выходить из темноты?..
Только как же — лес и поле?.. Как же —
розовые, вдоль дорог, цветы?..
Сам себе на это отвечаю:
«Не случится ничего: и впредь
розовому морю иван-чая
неумолчно пчелами звенеть!..
Ну, а как же, скажем, дом и дети?
Без меня все завтрашние дни
выдюжит двадцатое столетье,
ну, а дети — выдюжат они?..
И на это отвечаю прямо:

«Жизнь как жизнь — и детям не страшна:
сын женился, дочь выходит замуж,—
думал бы о внуках, старина!..
Ну, а как же с тем, что не наладил,
с тем, что недоделал, не успел?..
Это недоделанное, кстати,
ты считал одним из главных дел!..
Тут с ответом словно бы заело:
«Видно, надо пробовать опять
то, что недоделано,— доделать!..
Умирать?..
«Пока не умирать!»

1977

«Показалось: стану одинок...»

Орлов, Давид Самойлов и Кайсын Кулиев.
Его знали Михаил Светлов и Ярослав Селяков.
На занятия с молодыми в «Аврору» по его
просьбе неоднократно приезжал Евгений
Евтушенко.

Редакторская работа поглощала всю его
жизнь. Как показали события, без нее, без
этой работы, для него жизни не было.

Ему пришлось оставить журнал...

Я все время думаю о том, что его друзья,
мы, в тот момент дрогнули, сделали шаг в
сторону, не смогли доказать, что потеря
Торопыгина как редактора нанесет большой
урон журнальному делу. Дрогнули...

Восемь лет назад весной позвонила Майя
Торопыгина:

— Володя тебя зовет. Приезжай, про-
стишься. Скорей.

Каким усилием воли сумел он оторвать
от одеяла и протянуть мне исхудалую донельзя
руку. Что-то прошептал, даже улыбнулся.

— Все. Иди,— сказала Майя.

Я шел вдоль Невы, вспоминая его строчки:

Показалось: стану одинок,
узел свой тоска затянет туго,
на скрещенье завтрашних дорог
безвозвратно потеряю друга...

Я шел и силился понять: почему меня
вспомнил, почему меня позвал? Из этой боли,
из тьмы уже.

А почему: «До свиданья, друг мой, до сви-
данья...» Не мать, не сестра — «друг мой...».

Сергей Давыдов.



РИЗА ХАЛИД

* * *

Всему на свете — свой простор,
Всему есть место в том просторе.
Пусть будет небо выше гор,
А горы будут выше моря...

Но есть негласный уговор:
Своею высью не кичиться...
Пусть ниже туч летают птицы,
Пусть море будет ниже гор!

Перевод С. Лаевского

* * *

Видишь, падает звезда?
Это — миг неповторимый.
Нас увозят поезда
Не к вокзалам, а к любимым.

Вновь в дорогу позовет
Сторона меня какая?

Снова поезд запоет,
Такт на стыках отбивая.

Все: леса, и города,
И поля промчатся мимо.
Нас привозят поезда
Не к вокзалам, а к любимым...

Перевод С. Лаевского

МОЙ ДРУГ — ПОЭТ АЛЕКСАНДР ЧУРКИН

(К 90-летию со дня рождения)

Моя первая встреча с Александром Чуркиным произошла еще во время Великой Отечественной войны, когда он в составе группы поэтов и композиторов при Политуправлении КБФ приезжал на флот, где я тогда служил.

Он сразу произвел на меня впечатление своей скромностью, несмотря на то, что был уже известным поэтом. Он отнесся с самым

дружеским вниманием ко мне, тогда начинающему поэту-песеннику.

А затем мы с ним встречались у В. П. Соловьева-Седого, с которым оба работали в творческом содружестве. Василий Павлович очень любил Чуркина, написал с ним много песен, в том числе и такие широко известные, как «Встреча Буденного с казаками», «Вечер на рейде», «Вечерняя песня».

А П Р Е Л Ь

В геометрическом начале
Бывает логика, но мне
Сегодня птицы отвечали
В совсем абстрактной стороне.

Весна! Не ведая науки,
Апрель, беспечный фантазер,
Тепла бесформенные руки
Над черной пахотой простер.

Там бессистемно, произвольно
Сплетались ветви в вышине,
И в белостенной колокольне
Спокойно спалось тишине.

Апрель, он спутал все на свете:
Едва набрался сил — и вот
Однажды утром на рассвете
Вдруг совершил переворот!

Перевод С. Макарова

* * *

Накренься над рощей оробелой,
Приутих под утро снеговой,
И зима в морозной печке белой
Выпекла румяных снегирей.

Перевод С. Макарова



Мой друг — поэт Александр Чуркин

В 1918 году А. Чуркин, пятнадцати лет от роду, вступил добровольцем в Красную Армию, стал кавалеристом, командиром, сражался с интервентами на Севере, с Врангелем на Юге, но никогда не говорил об этом героическом отрезке своей биографии.

Уже закаленным бойцом пришел он в литературу — сначала в журнал «Резец», а потом в Союз писателей СССР.

В партию он вступил только в 1949 году, так как до этого считал себя еще не подготовленным к высокому званию коммуниста. Вообще требовательность к себе была его отличительным качеством.

Кроме Соловьева-Седого А. Чуркин работал и с другими ленинградскими композиторами. Очень много песен написал с Георгием Носовым; среди них такие популярные, как «Парень кудрявый», «Далеко-далеко».. С композитором И. Держинским написал для его оперы «Поднятая целина» известную песню «Конь мой буланый», а для оперы «Тихий Дон» — прекрасную песню «От края и до края».

У него выходило не очень много книг, но песни его шли непосредственно в народ и становились любимыми.

Мы с ним часто выступали перед читате-



АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ

* * *

Жара стояла.	Копить обиды,
Целый день	Отступить?
Искали даже птицы	
Тень.	Осилью ношу,
	Что взвалил
Цвела сирень.	Себе на плечи,—
Она была,	Хватит сил?
Как первый снег,	
Белым-бела.	Сдержу ли слово,
	Что давал? —
В ее серебряной	Себе вопросы
Тиши	Задавал.
Я глянул в глубь	
Своей души.	И сам собой
	Пришел ответ,
И удивился,	Когда на всё
Что она	Пролился свет:
Была сомненьями	
Полна.	В тиши
	Серебряных ветвей
Как быть?	Спроси
Как лучше поступить?	У совести своей.

Мой друг — поэт Александр Чуркин

лями, перед любителями песни, и я помню, что он никогда не выставял своего превосходства, а, наоборот, всячески выдвигал меня.

Я гордился его дружбой и, когда Александра Дмитриевича не стало, написал стихотворение, которым позволю себе закончить свое краткое воспоминание об этом прекрасном русском поэте и кристально чистом человеке.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДРУГА

Когда уходит друг
Из жизни навсегда,
Ясней мы видим вдруг
Плоды его труда.

Он в жизни скромным был,
Как рядовой в строю,
Но душу всю вложил
В поэзию свою...
Умел мой друг поэт
Так песню-стих сложить,
Что вот поэта нет,
А песни будут жить!
Поэт чрез много лет
Не пропадет во мгле,
Поскольку добрый след
Оставил на земле.

Соломон Фогельсон

* * *

Пора. Но не сплю по привычке.
Деревья под дождем мокнут.
Врываются в ночь электрички,
Бегут кинолентами окна.

Они не такие, как надо,
В них нежности нет довоенной,
Что знал я в садах Ленинграда,
В ночах с полутьною мгновенной.

Возникнут — и сразу ослепнут,
Растает колес громыханье.
А струи всё крепнут и крепнут,
И трудное ночи дыханье.

В них краски другие и звуки,
И нет разъярившейся стали,
Что хрупкие женские руки
Навстречу врагу посылали.

Я мучаюсь. Я негодую.
Теряю к себе уваженье.
Все вижу тебя, молодую,
Седую, на поле сраженья.

Пока что в бессилии каюсь —
Слова эти скрыты, как в сказке.
Но я отыщу, докопаюсь,
Найду эти звуки и краски.

А слов, чтоб увидели люди
В тебе героиню, хоть тресни,
В словесной бесчисленной гряде
Не вижу для истинной песни.

Настрою и сердце и лиру,
Чтоб вместе тревожно запели
И гордо поведали миру
О женщине в серой шинели.

* * *

Жизнь, как речка
По земле, течет,
Ни минуты
Не стоит на месте.

Жизнь — как речка.
В зной и в холода
Вечное движенье жизни
Длится.

Круг друзей сужается
За счет
Выбывших из круга
За бесчестье.

Круг друзей сужается,
Когда
Сердце друга
Устает трудиться.



В. Алексеев.
Михайловское. Горбатый мостик. Офорт.



ВАДИМ ШЕФНЕР

УСТНАЯ РЕЧЬ

Это так, а не иначе,
Ты мне, друг мой, не перечь:
Люди стали жить богаче,
Но беднее стала речь.

Дачи, джинсы, слайды, платья...
Ценам, цифрам несть конца,—
Отвлеченные понятия
Улетучиваются.

Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;

Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.

Сотни слов родных и метких,
Сникнув, голос потеряв,
Взаперти, как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.

Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь — людское чудо —
Не скудела в наши дни.

* * *

Ругают ли критики люто
Иль хвалят, впадая в экстаз,—
Стихи наши твердой валютой
Становятся лишь после нас.

С годами — без лести, без блата,
Строга, неподкупно груба —
На медь, серебро и на злато
Все рассортирует судьба.



БАЛЛАДА О ХУДОЖНИКЕ

1

Художник шагал по дороге.
Навстречу, в июльской пыли,
Тащились вчерашние боги,
Изгнанники неба брели.

Поникшие крылья в заплатах,—
Теперь не витать в облаках,
Широкие нимбы помяты,
Надменные лбы — в синяках.

Сказал им художник негромко:
«Прошу к моему шалашу!
Я, братцы, на радость потомкам,
Сызмальства картины пишу.

Я запечатлеть вас намерен
Таковыми как есть, без прикрас;
Я в вас — вознесенных — не верил,
Но верю в низвергнутых вас».

2

Картину — и слева, и справа —
Ругали нещадно, и вдруг
Подкралась к художнику слава,
И все изменилось вокруг.

Заказчики в студию рвутся,
А боги, не зная границ,
Повсюду глядят с репродукций,
С журнальных и книжных страниц.

Завален художник работой —
Теперь он не канет на дно,

Торжественным нимбом почета
Чело его озарено.

И все же, с подспудною грустью,
Он напоминает порой
Скитания по захолустьям
И день невозвратно-былой,

Когда он в одежке убогой,
В истертых до дыр башмаках
Шагал немощеной дорогой,
Витая мечтой в облаках.

* * *

Молчаливые фильмы, трамваи с площадкой открытой,
Чехарда и лапта, дровяной деревянный сарай...
Возникают из тьмы очертания давнего быта —
И душа экскурсанткой вступает в покинутый рай.

Как светло и привольно живется там детям и взрослым!
Все капризы мои моментально прощаются мне;
В мире этом еще не обижен никто, и не сослан,
И не болен никто, и никто не убит на войне.

Там счастливые сны до утра моей матери снятся,
Там осенней порой вечера так уютно длинны,
И на книжную полку, где с Фетом соседствует Надсон,
Даргомыжский и Лютер степенно глядят со стены.

В том домашнем раю, в безмятежно-безгрешном покое
Беспечально, бессмертно родные звучат голоса,
А на Среднем проспекте копытами цокают кони,
И на кухне чуть свет музыкально гудят примуса.

ЭЛЕГИЯ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

На кладбище, где новых нет могил,
Никто теперь над мертвыми не плачет.
У входа ангел каменный застыл
И смотрит ввысь надменно и незряче.

Безлюдье, тишина со всех сторон,
Немых оград заржавленные цепи,—
И дряхлый сторож гонит самогон
Ночами в старом безымянном склепе.

Потом идет, не зная что к чему,
Но чувствуя бессмысленную бодрость,—
И кланяются чертики ему,
Его преклонный уважая возраст.

Он сам себе слуга и господин,
Он одинок, все остальные — в сетях.

Один, один, единственно — один
На кладбище, на всей родной планете.

Над ним, как дети, плачут облака,
Лежат пред ним безлюдные просторы...
Лишь марсиане видят старика
В свои сверхдальнозоркие приборы.

И говорят: «Там ходит человек.
Он в дни войны сумел в живых остаться
Мы подождем. Пусть доживает век.
Когда помрет — начнем переселяться.

Когда настанет время — в должный час
Мы приземлимся на земной поляне.
Ведь неспроста, ведь это ради нас
Самих себя угробили земляне».

ПУНКТИР

В грядущем меня не ищите —
Не сыщите там, вдалеке;
Я вам не строка на граните,
Я — только пунктир на песке.

Не будет исчислен подробно
Мой длительный опыт земной,—
Он будет затоптан беззлобно
Шагами идущих за мной.

Но, может быть, микрочастица
Мечтаний моих и невзгод
В иные слова воплотится
И в чьих-то стихах оживет,—

И кто-то со мной на мгновение,
Не зная, не помня меня,
Увидит в седом отдаленье
Черты отошедшего дня.



Д И А Л О Г

«Кончается наш переменчивый путь,
мы жизни закон принимаем,
мы в землю уже опустились по грудь,
но вас над собой поднимаем —
уже из последних, из меркнувших сил,
из наших побед и разора.
Пока еще ветер нас не погасил,
мы вам и приют, и опора.
Мы верим, мы знаем, что так же и вы,
когда подойдет ваше время,
поднимете выше своей головы
сынов, это сладкое время...»

«Вы поняли много, но вам не понять,
что скрыто от вашего взора.
Мы сами опору согласны принять,
но мы никому не опора.

Мы — ваша надежда, мы — ваши сыны,
и все же одно вам ответим,
что мы никому ничего не должны,
ни вам, ни подругам, ни детям...»

«Нам страшно с извечной природой разлад
увидеть своими глазами,
и мы обращаем растерянный взгляд
на тех, кто шагает за вами.
Внучат сиротливых мы в руки берем,
в увядшие старые руки.
Мы будем держать их, пока не умрем,
но кем они вырастут — внуки?
Ужели связать не удастся концы
и внуки заявят нам скоро:
«Мы будем такими, как наши отцы,
и мы — никому не опора?»»

П И С Ь М О, Н А Й Д Е Н Н О Е В Р А С К О П К А Х

Мы подошли к царю Агриппе
и — вам понятно почему —
не стали говорить о гриппе,
а стали сразу — про чуму.

Но царь Агриппа был не в духе,
ему наскучили пиры,
его с утра кусали мухи,
кусали ночью комары.

Он закричал: «Чума? Откуда?!
Где вы увидели чуму?!»
И поступил он с нами худо,
чтоб понимали — что к чему...

Мы вновь пришли к царю Агриппе
и — вам понятно почему —

всё доложили мы о гриппе
и умолчали про чуму.

Но царь Агриппа был не в духе,
всю ночь дурные видел сны,
его ушей достигли слухи,
что перемерло полстраны.

Он закричал: «Что это — шутка?
Вы что, не видите чуму?!»
И поступил он с нами жутко,
чтоб понимали — что к чему.

Чтоб обрели, как надо, зренье,
мы грубо брошены во тьму,
где и сидим в недоуменье,
не понимая, что к чему.

ЧЕРНЫЙ ВОРОН

Ее прозвали «черным вороном»,
машину памятную эту.
Ей власть дана была
над городом
от полночи и до рассвета.

Она,
скользя сквозь тьму тревожную,
как бы высматривала что-то.
Ее заметив,
осторожные
спешили скрыться за ворота.

Калитку притворив скрипучую,
вздохали с облегченьем:
«Мимо...»
Но для кого-то
в каждом случае
беда была неотвратима.

И где-то звякали засовами,
подняв хозяина с постели...
И становились жены вдовами,
а ребятишки сиротели.

Те, младшие державы жители,
что с их понятливостью детскою
в своих отцах бывалых
видели
и партию и власть советскую.

И лишь доносчики всеильные
в тот черный год спокойно спали.
И пятна на руках
чернильные
как пятна крови проступали.
1962

ОТЦОВСКИЕ ШРАМЫ

Отцовские шрамы.
Они рождены
в грозном пожаре
гражданской войны.

Отцовские шрамы,
их было немало,—
по ним
революцию
я изучала.

Но в тридцать седьмом,
на доносах распятом,
среди ночи
отца
увели без возврата.

И там,
где решетки
припаяны к рамам,

всё били
по шрамам,
по шрамам,
по шрамам.

Как будто навечно
в крови
их топили,
как будто бы
по революции
били.

Но их не убили.
Как правда, упрямы,
легли мне на сердце
отцовские шрамы.
1962

О Б Ы В А Т Е Л Ь

В полночь увезли соседа,
обыватель — ничего.
С тем соседом он обедал
и с пеленок знал его.

Ну и что с того?
Попробуй
ты его с позиций сбей,—
он останется до гроба
верен тупости своей.

Обыватель вопрошает:
«Отчего же не меня?!»
Обыватель восклицает:
«Нету дыма без огня!»

Озабочен пропитанием,
он доверчив, как овца.
Знать не знает о заклании,
лишь бы кинули сенца.

1962



REQUIEM

1935 – 1940



Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

В МЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнувшись от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат—
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.

Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна..
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге?
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

В С Т У П Л Е Н И Е

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконы,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

*Осень 1935
Москва*

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачей,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячую
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

VI

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

1939

VII

П Р И Г О В О Р

И упало каменное слово
На мою ещё живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето 1939

VIII

К С М Е Р Т И

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой,—
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.

Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему,
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940

X

РАСПЯТИЕ

*Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сущу.*

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Э П И Л О Г

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу как домой!»
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громыхание черных марусь,

Забить, как постылая хлюпала дверь,
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940
Фонтанный Дом



ГЕОРГИЙ ГЛЁКИН

ИЗ ЗАПИСОК О ВСТРЕЧАХ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

(А. Ахматова — о современниках и о себе)

Мне не надо вспоминать Анну Андреевну. Я помню ее постоянно. Предлагаемые читателю записки не воспоминания, а систематизированные дневниковые записи высказываний Ахматовой. Я делал эти записи тотчас же, как выходил от нее, — на станции метро Новокузнецкая, в комаровских сосновых перелесках, на ленинградской улице, в церковном скверике на Ордынке...

Стихи Ахматовой я знал и любил давно, а познакомился с Анной Андреевной только в самые последние годы ее жизни, — в первый раз был у нее, когда она летом 1959 года гостила у своих московских друзей — Ардовых. С тех пор, до самой ее кончины, приходил к ней, как мне теперь кажется, слишком редко, чтобы еще и еще раз услышать этот глубокий голос, увидеть добрую улыбку, послушать стихи, которые она любила мне читать. Анна Андреевна называла меня «Читатель» и уверяла, что я знаю о ее стихах больше, чем она сама. На подаренном мне экземпляре «Бега времени» такая надпись: «Георгию Васильевичу Глёкину, который почему-то иногда знает о моих стихах больше, чем я сама. 28 октября 1965 Москва».

Это, конечно, шутка.

Ни в малой степени я не претендую на роль комментатора, биографа или вообще «специалиста по творчеству Ахматовой». И все же мне кажется, что для специалистов мои записки могут представить интерес, ибо записано в них только то, что запомнилось точно, дословно. А для неспециалистов будут интересны кое-какие новые сведения о замечательном советском поэте...

«Я не знаю... По-моему, все, что я писала, — все плохо, все ни к чему, все — ошибка, но... я не могла иначе. И вот меня все ругают. Меня страшно, почти неправдоподобно ругают у нас и за границей. Особенно там. И непонятно за что. Здесь у нас понятно: они не хотят религии, не хотят пессимизма, и за это меня ругают... Но ведь не любят, ругают, бранят и за границей... Я всю свою жизнь постоянно в безвыходном положении. Нельзя меня даже слегка хвалить, — ведь я страшно уязвима, как устрица, вынутая из раковины. Все началось с известной статьи Корнея Чуковского. Но это были пустяки. Надо знать его, чтобы понять, откуда у него это взялось. Так ему тогда казалось, и он написал, ни о чем не думая. А вот формалисты, и особенно ЛЕФ, губили нас и погубили политически. Это Тынянов и даже Эйхенбаум с его испуганными книгами... Георгий Иванов и Николай Оцуп доконали нас в эмиграции. Вот как сложилось о нас очень удобное мнение... нас милая интеллигенция сделала «жертвой вечерней»...»

«В конце двадцатых годов я жила, окруженная заговором молчания, в Гаспре... Травлю против меня систематически организовывала штаб-квартира Бриков. Видимо, не без их участия пал жертвой Маяковский... Слава для меня всегда поворачивалась теневыми сторонами, — у других вила «Черный лебедь», довольство, покой, а у меня сплошная и утомительная «ахматовка», как говорит Виктор Ефимович¹. И кроме того, мне попросту негде жить...»

¹В. Е. Ардов.

«В сорок шестом году, после Постановления обо мне и о тилом Михаиле Михайловиче, я на нервной почве прочла по-итальянски «Величие и падение Рима» Ферреро, хоть и не знала итальянского языка. Заметила уже на середине и стала читать дальше. А с Ажедеж не могла слова сказать...»

«Танечка Тэсс... рассказала мне, как она узнала, что к ней пришла слава. В одном провинциальном журнале появился человек и потребовал денег на том основании, что он — муж Татьяны Тэсс. Редактор оказался находчивым человеком и страшно напугал просителя, сказав ему, что «Татьяна Тэсс» — псевдоним тужчины. Я на это рассказала, что мне пришлось по-другому узнать, что я знаменита. В 46-м году осенью шофер такси вдруг повернулся ко мне и неожиданно сообщил, что Ахматова повесилась. Так я узнала, что тоже стала знаменитостью...»

«Я никогда не верила ни вам, ни другим тоже, когда меня хвалили, но безусловно верю, когда меня ругают. Дилемма Креонта и Антигоны. Конечно же Креонт прав, совсем прав. А иначе я была бы чудовище. В этом мое спасение. Муж говорил мне: «Ты думаешь, почему эти акулы — частные издатели — тебя хвалят? Просто им это выгодно, и все!..»

«Остеркин был моим большим другом. Он всем рассказывал, что прожил с Ахматовой большую пьяную жизнь, но это просто совершенно все неправда. Мы действительно были хорошими друзьями, и только. Он дважды писал мой портрет. Один раз на фоне окна Фонтанного Дома и старого клена, который там рос, другой раз в своей мастерской, зимой. Тогда мы с ним и выходили на крышу дома через окно мансарды, к ужасу местных жителей, чтобы полюбоваться зимним Питером и снежной Невой. Он жил у Дворцового моста в высоком сером доме...»

«Я жила одна в Шереметьевском доме на Фонтанке. Рядом в Екатерининский институт попала бомба... У нас треснула стена, обвалилась печь, вылетели стекла. Жить там уже больше нельзя было. Я позвонила писателям. За мной должен был зайти Борис Викторович Тожашевский и отнести мои вещи. Ну, много ли он мог нести? Я уложила то, что, по-моему, на-

до было нести, в такой, у меня был, зеленый чемоданчик. Вечером он зашел. Мы вышли, дошли до цирка, там сели на трамвай. Тогда тревоги были каждые полчаса или час. Доехали до Михайловской площади. Тревога. Вышли. Все бегут. Нас тоже загоняют — скорей, скорей! Во двор, другой, в подвал... Спускается, и вдруг Тожашевский смотрит на меня, я — на него: да ведь это «Собака»! Чисто выбелено, нет никаких росписей. Поставлены скамьи рядами... Это и есть конец «Бродячей собаки». Потом мы перешли Итальянский мостик, и я жила у Тожашевских с неделю. Затем меня увезли...»

«Знаете, — сказала мне как-то Анна Андреевна перед отъездом из столицы, — я пересидела в Москве. Никогда не надо так делать. Я уже стала совсем своя здесь. Впрочем, Марина давно подарила мне этот колокольный град. Если дома все еще очень холодно, я проживу эти дни у Тожашевской, а затем свои 24 дня в Доме творчества и прямо переберусь в «будку»¹...»

Из разговоров в «будке»:

«Вчера здесь было необыкновенное происшествие. Шел дождь, и вдруг я вижу: около забора бродит какой-то человек с совершенно стертым, будто его вовсе и нет, лицом. А тут пришла завернутая во всякие плащи Л. Она пошла и привела человечка этого. Он такой маленький. Он сказал, что он из Угрозыска: «Как тут поставлена охрана?» Я ответила, что вот уж десять лет тут живу, но никогда не слыхала про охрану. Потом, когда Л. пошла его провожать, он, ломая руки, говорил: «Как это может быть? Ведь это сама Ахматова, а вы бросаете ее на произвол судьбы. Ведь это не кто-нибудь, ведь это «Мы знаем, что ныне лежит на весах...» Как же это можно?!»

«Я выдвинута на Нобелевскую премию! Нет, ничего страшного! Я говорила с Прокофьевым. Он говорит, что он плохой, а я — хорошая. Что это нужно. Ведь это — красный флаг над ратушей Стокгольма. Пускай на несколько минут, но все-таки — наш флаг! Мой соперник — Роберт Фрост. Я читала его стихи. Хорошие. На колхозные темы — про коров?...»

¹ «Будкой» А. Ахматова называла дачу Литфонда в Комарово.

Помнится, что, когда Нобелевская премия не была присуждена ни Ахматовой, ни Фросту, Анна Андреевна прокомментировала это так:

«...Но, слава богу, уже известно, что премии мне не дадут. Там, в Стокгольме, король и акулы капитализма посовещались шепотом и решили мне премии не давать...»

«Здесь у меня был один америкашка. Он написал об Осипе Эмилевиче очень вздорную диссертацию. Жаль, что мы с Осипом Эмилевичем не знали этого. Ведь мы могли бы написать друг о друге по диссертации, и все было бы правда, и мы были бы докторами. Мы ведь так умели смешить друг друга... Вы знаете, это так страшно, так страшно... Когда вот тут, где вы сидите, сидел америкашка и говорил все свои глупости, вдруг на него вот такими кусками стала падать штукатурка. И все падает и падает. Он отряхнется, а она все падает. Это было так страшно! Ведь на вас же не падает...»

«Вместе с Томашевским у меня на днях был очень приличный господин из одной лондонской газетины, такой рыжеватый. Я знаю, что из разговоров с буржуазными газетчиками ничего путного не бывает, но уклониться на этот раз мне не удалось. Этот мистер задал с места в карьер такой вопрос: «Вы пели или читали свои стихи в ресторанах?» Очень многие представляют себе дело так: в 1911—1916 годах была хорошая русская литература — Бунин, Чириков, Куприн, Аверченко, а рядом не то богема, не то эстрада с Вертинским и Ахматовой. Затем мистер спросил, считаю ли я свои стихи бесстыдными? Была ли, и как долго, любовницей Блока и Николая Второго? Считаю ли я, что после революции люди стали счастливее? Я ответила только, конечно, на последний вопрос. Ответила, что я не специалистка по счастью, но я вижу, что теперь несравненно большее число людей живет в хороших условиях, лучше, не в пример, питается, люди в большинстве стали культурными, совсем нет неграмотных, женщины получили все права... В общем, это и есть счастье. Он спросил, религиозна ли я? — Да. — «И вы — член Союза писателей?» — Да. Наконец я не выдержала и спросила этого приличного господина, зачем он, собственно, припожаловал в СССР и еще явился ко мне, и зачем вообще вся эта петруш-

ка? После недоуменного и оскорбленного молчания приличный господинчик изрек: «Английский читатель хочет знать, что вы живы и здоровы». — «А что, там у вас думают, что меня на кофе смолотили?» Какие они там все пакостные! Я даже руки вымыла, когда он ушел. Воображаю, что он там напишет. Нельзя пускать ко мне этих прохвостов...»

«Заграничное хамство продолжается. Да и зачем от них ждать другого чего-нибудь? В «Нью-Йорк трибюн» — пошлая статья, что большевики разрешили Ахматовой писать эротические стихи. А я, слава богу, за всю свою жизнь не написала ни одного эротического стихотворения, хотя мне никто и не запрещал этого. Какие они страшные пошляки! Меня преследовали и ругали у нас, но так никогда еще не оскорбляли. Им не нравилось, вот они и ругали. А эти... Это о них Борис Леонидович сказал: „Пошлость победила...“»

«Некая дама из Парижа, русская, но, как все эти эмигранты, говорящая, что она имеет дело только с французами, а с русскими, то есть с теми же эмигрантами, не желает иметь дела, рассказала, что там долго не могли поверить, что «Поэма» написана той самой Анной Ахматовой, которая написала «Четки». Видимо, мы с ними уж очень по-разному видим все. Очень уж они, бедняги, застряли на уровне десятих годов...»

«Какой-то славист-филолог из штата Индиана спрашивал меня, кто из моих родных повлиял на мое поэтическое призвание. Я ответила, что абсолютно никто. Наоборот. Пожимали плечами и спрашивали: «Зачем тебе это нужно?»...»

«Я — акмеистка и, значит, за каждое слово в ответе. Это символисты говорили всякие непонятные слова и уверяли публику, что за ними кроется какая-то великая тайна. А за ними ничего, ну совсем ничего не крылось...»

«Есть два вида стихов. Одни — те, над которыми работаешь: там строчку переделаешь, тут изменишь... А есть другие. Как будто кто-то сквозь тебя взял да и написал... Знаете ли, что в основе творчества лежит скука? Многие этого не знают... Когда все гладко, ровно, все благоустроено и ничего не надо делать... Вот я уезжаю в «будку» и собираюсь там

скучать над своим Пушкиным. Творчески скучать...»

«Вот сейчас, пока Эмма¹ обедает, я прочту вам одно стихотворение,—там есть один такой глаз... А Эмме неинтересно будет слушать, я ей уже читала...

И гул
затихающих строчек,
И глаз,
что скрывает на дне
Тот ржавый
колющий веночек
В тревожной
своей тишине.

Когда я писала эти стихи, не здесь, вон в той комнате, в столовой... было, как всегда, шумно, а Нина Антоновна² посмотрела на меня с омерзением: „Как? Вы все еще тут? И все стихи пишете?..“»

«Я боюсь, когда меня сравнивают с Пушкиным. Такая громада — и вдруг я с горсточкой странных стихов. Уж лучше с Сапфо. От нее остались только начала стихов...»

«...Есть несколько законов в поэзии. Осип³ проповедовал, что нужно знакомить слова, помещая рядом слова, раньше никак не соединявшиеся. А можно, как Марина⁴, повторять одно слово, как бы в заклинании, так, чтобы слово само по себе теряло смысл. И есть еще пушкинское слово — многоплановое, когда в данном слове Пушкин говорит и как он любит Наталью Николаевну, и что поедет в деревню, и что не любит Бенкендорфа. Слово страшно емкое, хоть и простое... Пушкин — это так страшно и вместе — так хорошо...»

Говоря о «Поэме без героя» («Девятьсот тринадцатый год») Ахматовой, нельзя обойти молчанием имя близкой приятельницы Анны Андреевны — Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной, появляющейся на страницах поэ-



мы в костюме Пута-ницы или Психеи. Вот что говорила о ней сама Ахматова:

«Она была точно мой двойник, но какой-то, знаете, светлый, очень светлый. Она умерла в Париже 27 декабря 1940 года. Тогда я начала поэму о ней. Это так странно... Вы заметили, что у меня почти совсем нет вещей? Я совершенно равнодушна к этому господскому бараклу. А

она жила среди утонченной роскоши, у нее было даже пристрастие к очень дорогим и красивым вещам. Она сама очень неплохо делала фарфоровые чашки...»

«У меня в поэме есть один эпитаф из Элиота. Но вот пришел ко мне один мальчик, который всего Элиота знает по-английски, и говорит, что все вещи его перебрал, там этого нет, право же, нет... И мне так стыдно стало,—ведь я сама этот эпитаф по-английски придумала...»

«Блок жил странно, очень одиноко. Никто у него не бывал. Он жил точно в пустом доме... Мережковские? Сам — типичный бульварный писатель. Разве можно его читать? Это литератор, все на свете крайне просто решающий. «Зиночка»¹ была умная, образованная женщина, но пакостная и злая... К Федору Сологубу я отношусь хорошо, хотя не очень была увлечена его поэзией в молодости. Есть в ней все-таки что-то демоническое. Сам он относился ко мне всегда хорошо. Когда он умер в 1927 году, была назначена комиссия, куда входили Иванов-Разумник, Замятин, я, еще кто-то. Я тогда спросила Разумника Васильевича, слышал ли он, чтобы Федор Кузьмич о ком-нибудь

¹ Э. Г. Герштейн.

² Н. А. Ольшевская.

³ О. Э. Мандельштам.

⁴ М. И. Цветаева.

¹ З. Н. Гиппиус.

говорил хорошо. Иванов ответил: «Да, слышал, он всегда хорошо говорил о вас». Я замолчала... Кузмин?.. Знаете, это был страшный, абсолютно аморальный человек, но еще и со слезой. Вынимал платочек, плакал над стихотворением, а потом бежал и делал какую-нибудь подлую пакость. Вот, например, его рецензия на постановку «Гондлы» Николая Степановича,



написанная уже после смерти Гумилева. Он там говорит о «бездарности» Николая Степановича... Брюсов? Да его попросту не было! Он писал два стихотворения в день и не написал ни одного. Стихи нельзя придумывать. У Бальмонта есть хоть жемчужины в груди мусора, а у этого нет ничего! Его «Огненный ангел» — это же переписанный в двадцатом веке колдовской роман, и больше ничего...»

«Анненский и акмеизм — одно. Как не понять, что все уже в нем есть! И Маяковский с его динамической разговорностью, и пастернаковский бормгот, и Гумилев, и мои стихи там тоже есть...»

«Осип Мандельштам — очень нужный мне поэт, самый нужный, нужнее, чем Пастернак... даже чем Анненский — мой учитель... Анненский и Зелинский были вообще немного... отличниками, вроде Вячеслава Иванова, и это меня несколько пугает. А Мандельштам не был отличником. И хоть и у него и у Коли в стихах все правильное, все нужное, а у меня все совсем не нужное, — все-таки они не были такими паиньками, как например Тынянов...»

«Клюев — это был настоящий деревенский начетчик, по-своему очень умный, хоть и страшный человек. Он читал такие книги, которых мы с вами и не видели никогда. Он был большим знатоком и любителем иконописи, самой древней, донионовской. У меня одно время весь передний угол был занят старыми иконами. Он приходил ко мне и определял каж-

дую: вот эта — суздальского письма, вот эта — олонекская, эта — строгановская, а эта — так... Он потом даже работал оценщиком в Торгсине. Как поэт он был очень даровит, и у него был свой голос... Клычков тоже был своеобразный поэт. И ослепительной красоты человек! Я сохранила на память о нем — он потом страшно пил — стихи:

Впереди ТревОжная дОрОга,
МнОгО гОря впереди,
О, пОбудь сО мнОю, ради бОга,
ХОть немнОгО пОсиди...

Он и читал так — сильно на «о». Остальное окружение Есенина просто ужасно — Мариенгоф, Шершеневич...»

«Вы читаете Хлебникова? Я знаю его место и очень ценю его, но это так сложно, а я такая слабая...»

«Недавно я оказалась не на высоте. Один географ пишет книгу о русских в Африке. Он позвонил мне и попросил рассказать... Он, словом, сказал, что пишет книгу и хочет там написать о Николае Степановиче. А я, оказывается, так не люблю экзотику, так не люблю, что вытеснила все из памяти. Так, немножечко, я ему рассказала, а подробностей никаких не помню. А у них ничего нет, все потеряно, уничтожено...»

«Гумилев был на редкость, прямо до жестокости прямолинейный человек и о стихах всегда судил крайне сурово — о своих, моих, чужих — все равно. Он даже Горькому, когда от Горького все, ну все зависело, говорил: «Зачем вы, Алексей Максимович, пишете стихи? Вы же не умеете, вы не поэт. Вот, смотрите, тут у вас дактиль, а тут, неизвестно зачем, хорей или вот тут — амфибрахий». Алексей Максимович посмеивался, но советы Гумилева очень ценил и учитывал...»

«Коля думал, что Брюсов поддержит его против Вячеслава Иванова. О! Это очень сложно. Было безумием думать, что символист будет поддерживать никому не известных акмеистов против другого символиста. Брюсов изругал его страшно. Акмеизм ругали все — и правые, и левые. Когда он появился, над ним издевались все, буквально все!..»

«Коля всегда знал, зачем пишутся стихи, зачем он сам пишет стихи, какие стихи надо писать, и очень меня бранил... да-да, ругал ужасно за то, что я ничего не знала о стихах. Вот с этого и началась их взаимная нелюбовь с Блоком... Ну, тот совсем какой-то странный был. Коля, в сущности, очень не любил в людях, а особенно в поэтах, странностей...»

«Во времена «Цеха поэтов» в Петербурге акмеисты завели обычай венчать лавровыми венками того поэта, чья книжка только что вышла. Венки были из настоящего лавра. Я помню лавровый венок на кудрявых волосах Зенкевича за «Дикую порфиру». На этих собраниях всегда стояла деревянная лира, которую своими руками сработал Городецкий. Возвращаясь с вечера, на котором лавровый венок был присужден мне, Коля вдруг увидел, что из-под моей мягкой фетровой шляпы выглядывают лавровые листья и что какой-то respectable господин в трамвае очень внимательно на меня смотрит. Я хотела освободиться от венка, который забыла снять вовремя, но Коля сказал, что будет уж очень глупо снимать лавровый венец в трамвае. Он потом два дня со мной не разговаривал...»



«Поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева — мать Мария — была, конечно, очень религиозна, очень правожерна, она была почти святая, но она была злой, а вовсе не доброй, как, например, Нина Георгиевна Чулкова, которая вся так и лучится добротой...»

«Одоевцева продолжает по сей день считать себя моей соперницей. Но у нее ничего из этого не выходит, так как между нами стоят еще восемь дам. Да и не она вовсе «вдова Гумилева»...»

«Смотрите, какую страшную книгу написал Георгий Адамович», — говорила мне Анна Андреевна, показывая оксфордское издание лекций доктора этого прославленного университета Г. Н. Адамовича, которое тот преподавал Ахматовой во время ее пребывания там в 1963

году на торжествах по случаю избрания ее доктором этого университета по разряду филологических наук. «Русская эмиграция вовсе деградирует. Прямо как Федор Павлович Карамазов: «И цыпленочку...». И в предисловии лягнули, смотрите, Николая Степановича: «офицерская муза Гумилева» — кто это? (Презрительное пожатие плеч) Гуль? Коля страдал разноглазием и был освобожден от призыва. Он только добровольцем пошел на войну, солдатом. Прапорщика он получил лишь в шестнадцатом году, а ведь и прапорщик — не офицер! Этих паршивых мальчишек (то есть Оцупа, Адамовича и Георгия Иванова. — Г. Г.) Коля вырвал из-под тлетворного влияния Северянина, а они продают его все время...»

«...Адамович очень больной и старый, но сейчас опять на работе — читает там свои лек-

ции по русской литературе. Читает по-английски. Надо жить! На его лекциях бывает много народа, русской литературой там все интересуются. Но, боже мой, что им может дать Адамович? Все это так страшно, так страшно... Подумайте только — полувекровая разлука...»

«Борис Леонидович сказал перед смертью: «Пошлость победила». «Если бы я выздоровел, а не умер, я бы боролся с пошлостью во всем мире. Я любил жизнь больше тебя и себя,— это он к Зине¹,— но я умираю. Пошлость победила». Это он понял, во что обратился его роман. А он делал ставку на него. Вы знаете, карикатуры там были пошлейшие. И реклама: «Принимайте пилюли нашей фирмы от несварения желудка,— их всегда выписывал доктор Живаго». Или: «Великий поэт-страдаец применяет только наш крем для бритья!» Я не знаю, чего он ждал? Что его там будут щадить? Кто? Фабриканты подтяжек? Но почему? Кого они вообще щадили? А пошлость была всегда. И в девятьсот десятом году, и в девятнадцатом веке, и в пятнадцатом,— всегда она была. И, должна вам сознаться, она мне никогда не мешала... И страдальцем Борис никогда не был. По-моему, даже некрасиво так о нем говорить... Бориса печатали много. Много о нем писали. Много раз переиздавали. У него мировая слава. Ну, один раз его выругали. Он ведь от этого даже не пострадал. Он не знал нужды. Он все время общался с толпой поклонников, которые тоже ничем не рисковали. Нет, он не был поэтом-страдальцем. Он был замечательным, абсолютно неповторимым поэтом, но на фоне гибели Мандельштама, Маяковского, Гарсиа Лорки, Цветаевой говорить о нем как о поэте-страдальце — бестактность... Я не люблю его последних стихов, ни его странного романа, такого придуманного, что сразу видно, что он был огромный, ни во что не вмещавшийся поэт... Переводы Бориса какие-то очень странные... Фауст какой-то у него не немецкий, а... не знаю, переделкинский, что ли. А Шекспир, сонеты — уж и вовсе ни на что не похожи. Драмы он перевел хорошо. Особенно «Гамлета». Но вот французы — опять какие-то, как говорит Виктор Ефимович, несуразности. Знаете, кто хорошо французоз переводит? Ваш

приятель Всеволод Рождественский... Хорошие переводчики — Левик и Гитович...»

«Из современных поэтов — и не подумайте, что это просто старухино брюзжание,— один Тарковский до конца свой, до конца самостоятельный, «автономный», как вам нравится говорить. У него есть важнейшее свойство поэта — я бы сказала, первородство... Как мог этот поэт, конечно, очень хороший, очень умный, талантливый, но до ужаса задавленный Осипом, так вдруг освободиться, так внезапно обрести свой голос? Ведь казалось, что Мандельштам полностью им владеет, и, вы поймите, ведь Мандельштам и Пастернак, в сущности, тираны — у них такая власть, что только очень сильный поэт мог бы их в себе преодолеть, а этот взял да и преодолел. Вот он какой!»

«В «Литературной газете» напечатали дурацкий (извините) рассказик Аркадия Аверченко. Но ведь это любимейший писатель Николая Второго. Его даже в Царском принимали. И пошлая русская эмиграция вокруг него все вилась, конечно...»

Мне хочется завершить эти записки простым воспроизведением последних страниц моей старой — 1965—66 годов записной книжки.

13.11.65. Из Боткинской отвечают: «Без изменений, хотя состояние удовлетворительное. Ночь прошла спокойно. Диагноз (то есть инфаркт) подтвердился. Она лежит на спине. Много спит...»

21.12.65. «Что же вы все не идете? Я вас жду, жду, а вы не появляетесь!» — такими словами встретила меня сегодня во 2-й палате 6-го корпуса Боткинской больницы Анна Андреевна. Она лежит на спине около двери маленькой, на четырех человек палаты. В ней появилась какая-то дряблость, чего раньше при ее полноте не было. Трогательная седая косичка... Мы говорили, как всегда, на литературные темы. Она очень ругает книгу Раевского о Пушкине, которую автор ей прислал. Она считает, что там нет ни слова правды... Хотел ее посетить Д. Д. Шостакович. «...Но я его

¹ З. Н. Пастернак.

не пустила. Он слишком гениален, и я не знала бы, что с ним делать».

12.01.66. ...Я был сегодня у молодой, веселой, похудевшей Анны Андреевны в Боткинской. Она в своем светло-лиловом стареньком платье под больничным халатом восседала очень высоко с ногами на кровати.

«Подождите меня вон там, я сейчас к вам выйду, здесь разговаривать неприлично... Меня привезли сюда без сознания в почти безнадежном состоянии. Я должна была умереть. У врача, которая мне это рассказывала, была прямо смерть в глазах...»

Сейчас уже не помню, по какому поводу разговор зашел о ее зарубежных впечатлениях:

«Париж произвел смутное впечатление. Его почистили, и он белый такой стоит, он стал совсем не парижский. Там так много вкуса, так красиво, божественно красиво, что это утомляет. И раздражает. Но зато Лондон успокаивает своей безвкусицей. Удивительно много безвкусицы... Оксфорд очень средневековый, не стилизованный под средневековье, а именно средневековый. Там на меня надели только мантию, а шапочку можно было в руках держать. Я не читала лекции. Мне нужно было только стоя выслушать обо мне речь по-латыни... А Бельгия — очень милая страна. И ей хочется, чтобы все так и думали, что она милая.

А между прочим, рыбаки в Остенде очень бедные и какие-то грустные, такие, что захотелось сказать им: «Ну, что вы притихли, глупенькие? Ну устройте революцию, что ли!» Нехорошо они там живут. Нечисто как-то...»

Когда мы прощались, Анна Андреевна сказала:

«Вот скоро приедет Анька ¹ выгребать меня отсюда лопатой».

10.02.66. Вчера у Анны Андреевны был в гостях, все там же в Боткинской, болгарский поэт. Ночью у нее был тяжелый приступ стенокардии. Но она лежит спокойная, улыбающаяся и шутит... Я рассказал ей о только что вышедшей книге А. А. Лебедева о Чаадаеве, которая полна цитат из О. Мандельштама. Это ее очень обрадовало. Я застал у Анны Андреевны М. С. Петровых и Н. А. Ольшевскую.

На этом кончаются мои записи об А. А. Ахматовой. Больше я ее живой не видал. Героические усилия А. Каминской, М. С. Петровых, Н. А. Ольшевской и других защитить Анну Андреевну от ее собственного неумения беречься не привели ни к чему. В начале марта она переехала в санаторий «Домодедово», где и умерла на руках Н. А. Ольшевской 5 марта 1966 года.

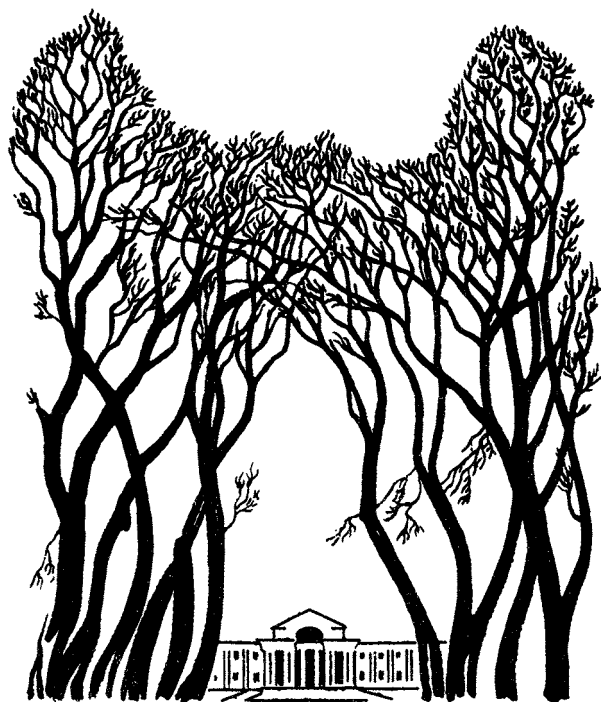
¹ А. Г. Каминская.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Отношения человека с людьми разными по-разному и складываются. Истина... От кого-то мы «прячемся в раковину», перед кем-то — душу обнажаем... Отсюда и те формирующиеся порой годами, не схожие между собой стереотипы одного и того же человека у различных людей. От стереотипов отказаться бывает весьма трудно.

Истина не делает исключений и для таких личностей, как Анна Андреевна Ахматова.

Автору «Записок», безусловно, повезло. Этому, надо думать, были свои основания. Можно лишь гадать, что способствовало расположению к нему А. А. Ахматовой. Тем более что Георгий Васильевич Глэкин предпочитает ничего, в общем-то, о себе не говорить. Из «За-



писок» не узнаешь, например, ни о многолетней дружбе автора с В. Рождественским (а случай, казалось бы, сам напрашивался — в том месте «Записок», где речь заходит о Всеволоде Александровиче), ни о научной деятельности Г. В. Глёкина, ни о его проникновенной увлеченности литературой... «Анна Андреевна называла меня «Читатель»...»

Вряд ли, однако, «Читателю», обойденному доверием поэта, удалось бы постичь и передать ту своеобразную, узнаваемую ахматовскую интонацию, которая живет в «Записках», обеспечивая силу и непрерывность их эмоционального воздействия.

«Ни в малой степени я не претендую на роль комментатора, биографа или вообще «специалиста по творчеству Ахматовой». И все же мне кажется, что для специалистов мои записки могут представить интерес, ибо записано в них только то, что запомнилось точно, дословно. А для неспециалистов будут интересны кое-какие новые сведения о замечательном советском поэте...»

Так определил свою задачу Г. В. Глёкин.

И с таких именно позиций виделась публикация «Записок» в альманахе членам редколлегии, «проголосовавшим» единогласно — «за».

ЗАГЛЯНЕМ ЗА МАСКУ!

Успех у него был ошеломительный. В наше время трудно даже вообразить себе масштабы этого — без преувеличения сказать — всероссийского успеха. Впрочем, убедительнее всего об этом скажут сухие цифры. Обратимся к ним: книги Игоря Северянина всего за пять лет разошлись (по данным на конец 1918 года) в следующих размерах:

Том I — «Громокипящий кубок», первое издание — 1913 год, всего 10 изданий, 31 348 экз.

Том II — «Златолира», первое издание — 1914 год, всего 6 изданий, 9800 экземпляров.

Том III — «Ананасы в шампанском», первое издание — 1915 год, всего 4 издания, 12 960 экземпляров.

Том IV — «Victoria Regia» — 3 издания, 8950 экз.

Том V — «Поэзоантракт» — 2 издания, 4180 экз.

Том VI — «Гост безответный» — 6500 экземпляров (а ведь тома VII, VIII, IX и X еще печатались!)

«За струнной изгородью лиры» — 12 400 экземпляров, а всего — 86 138 экземпляров, — цифра, удивляющая и в наши дни!

И это при всем при том, что тогдашние поэтические тиражи в тысячу экземпляров были весьма заметным явлением, а рядовым — издание в четыреста-пятьсот, из которых, как предварялась читающая публика, к примеру, «тридцать нумерованных экземпляров в продажу не поступает», — что считалось признаком хорошего тона...

Какими же стихами вызывался этот сногшибательный успех? Каким золотым запасом поэтических ценностей поддерживалось пущенное в повседневный оборот? Многие помнят, конечно, такие строки:

— Мороженое из сирени!

Мороженое из сирени!

Я сливочного не имею,
фисташковое все распродал...

Ах, граждане, да неужели вы требуете
крэм-брюле?

Пора популяризировать изыски,
утончиться вкусам народа,
На улицу специй кухонь,
огимнив эксцесс в вирэле!

Или возьмем «ФИОЛЕТОВЫЙ ТРАНС»:

О, Лилия ликеров, — о, «Crème de Violette!»
Я выпил грез фиалок фиалковый фиал...
Я приказал немедля подать кабриолет
И сел на сером клене в атласный интервал.

Затянут в черный бархат, шоффер —
и мой клеврет —
Коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор,
Как жеребец заржавший, пошел
на весь простор,
А ветер восхищенный сорвал с меня берет...

Именно так, «покрасивше» — через элегантно-«э»: берет... Кстати, в иных местах он и словцо «шофер» пишет: «шоффэр». Что-бы — изысканнее!

Ну а «КАЧАЛКА ГРЕЗЭРКИ»?!

Покачнетесь Вы влево, —
Королев Королева,
Властелинша планеты голубых антилоп,
Где, от вздохов левкоя,
Упоение такое,
Что загрезит порфирой заурадный холоп!

А качнетесь Вы к выси,
Где мигающий бисер,
Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс.
И мечты — сюрпризэрки
Над качалкой грезэрки
Воплотятся в капризный, но бессмертный
Эксцесс!

Или вот еще одно — знаменитое, от всех цитатчиков набившее чисто вкусовую оскомину:

Что до того, что скажет Пустота
Под шляпками, цилиндрами и кэпи!

Разумеется, один и тот же поэт может выплеснуть великое:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим...

И он же — в другой свой час — может сказать:

Нам с лица не воду пить,
И с корявой можно жить!

Другой может трепетно написать:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка...

А в ином месте залихватски съерничать:

Ах ты Катя, моя Катя,
Толстоморденькая!

И ни упреков, ни удивления это не вызывает — потому как просто поставленные задачи разные...

Кстати, имеется точное свидетельство, что вышеупомянутый Александр Сергеевич писал свою «Черную шаль» как шутку, как некую полупародию на — выражаясь языком нашего времени — популярные эстрадные образцы, не подозревая, что эта его шутка позднее станет модным душераздирающим романсом... Запомним это!

Боюсь, что теперь — за туманной клубящейся дымкой семи десятилетий — сегодняшнему читателю, тем более молодому, трудно, почти невозможно представить себе предгрозовую, предвоенную (перед первой мировой!) поэтический быт тех лет.

В тот, рубежный 1913 год дому Романовых исполнилось 300 лет, Есенину было 18, Маяковскому — 20, а самому Игорю Северянину — 26!

Славному вождю русских символистов Брюсову оставалось жить 11 лет, а Александру Блоку еще предстояло написать «Двенадцать» и «Скифы»...

На поэтическом небосклоне еще высоко стояла звезда Бальмонта, который продолжал читать с неповторимым колдовским завыванием:

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи...

Косноязычно ворочали «вселенскими» языками Каменский и Хлебников. Маяковский, как турбина, только что поставленная под нагрузку, медленно набирал обороты. Еще не прозвучал призыв Владимира Кириллова: «Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля!» Ярился молодой Сергей Городецкий, шумел «Цех поэтов», который Блок иронично назвал «Гумилевско-Городецким обществом»...

И в этой атмосфере так называемое «самообожествление», самовосхваление Игоря Северянина как распространенный поэтический прием нас не должно ни раздражать, ни удивлять. Всякое мы повидали и еще не такое слыхивали. Подумаешь, «Я, гений Игорь Северянин...»

А как насчет строк, к примеру, Брюсова:

Я — междумирок. Равен первым,
Я на собраньи знати — пэр...
.....
Мне Теннисон и Бердсли братья,
Им гордо я дарю любовь...

Кстати, существует и другая редакция этой строфы, еще похлеще:

Мне Гете — близкий, друг — Вергилий,
Верхарну я дарю любовь...

На мой взгляд, при таком «запеве» Игорь Северянин мог не стесняться, начиная свое послание к Брюсову:

Великого приветствует великий...

Да еще небрежно демонстрируя при этом великолепное мастерство, укладывая четырнадцать сонетных строк в акrostих: «В-А-Л-Е-Р-И-Ю Б-Р-Ю-С-О-В-У»..

Сквозит, правда, в этом послании некая ирония... Nate, мол, вам... И мы не лыком

шиты! Да, Игорю Северянину нельзя отказать ни в мудрости, ни в злости!

На поэтические вечера Блока — который вовсе не казался тогда великим — еле-еле собиралось по 80—100 человек. Публика галдела в «Бродячей собаке» или в «Стойле Пегаса» примерно так, как сегодня в модных диско-теках. Масштабы, правда, были поменьше...

Крошились прогнившие сваи дома Романовых. И не надо удивляться, когда в этой круговерти, в этом неистовстве и гаме, в этой мути и неразберихе нормальный человек попытался поставить перед собой, жадной, торопящейся и гогочущей толпой кривое зеркало, чтобы она увидела в нем себя. — чтобы попытаться ужаснуть ее!

В математике и логике этот очень древний прием доказательства называется «доведением до абсурда»... И вот:

Стрекот аэропланов! беги автомобилей!
Ветропроект экспрессов! крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован! там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

Позвольте, да это же... Пародия! Всё — пародия, начиная с названия **«ФИОЛЕТОВЫЙ ТРАНС»**. Или — **«ШАМПАНСКИЙ ПОЛОНЕЗ»**... Но пародия не на конкретного поэта, как мы привыкли, а пародия сразу на все разлагающееся общество, пародия гигантская, сознательная, последовательная!

Ну разве это не пародия на великосветскость в представлении торговца, свеженспекенного купчика, нажившегося на военных поставках и не получившего даже элементарного гимназического образования:

Шампанского в лилию!

Шампанского в лилию!

Ее целомудрием святеет оно.

Mignon с Escamillio!

Mignon с Escamillio!

Шампанское в лилии — святое вино.

Шампанское, в лилии журчащее,

искристо —

Вино, упоенное бокалом цветка.

Я славлю восторженно Христа и Антихриста,

Душой, обожженной восторгом глотка!

Голубку и ястреба! Ригсдаг и Бастилию!
Кокотку и схимника! Порывность и сон!
В шампанское лилию!

Шампанского в лилию!

В морях дисгармонии — маяк унисон!

Давайте попробуем встать на эту новую точку зрения. Поймем, прочувствуем — и примем, что многое, самое острое из написанного Северянином в годы бурного успеха, — это специальные дразнилки, предназначенные для эпатажа городской черни, грязной торговой накипи, без корней и культурных традиций.

Игорь Северянин — первый из русских поэтов, сознательно и надолго надевших эстрадную маску!

Впрочем, надо признать, что попытки создания, так сказать, поэтического театра одного актера были не единичны. Всплывало над эстрадными рампами бледное мертвенное лицо Вертинского в костюме бедного Пьеро. На скупающие пресыщенные лица слушателей ложился тревожащий огненный отсвет желтой кофты, которую носил дерзкий долговзый юноша.

...Увидел парня в желтой кофте —

Все закружилось в голове...—

Так с удивлением признается Северянин в 1914 году! Он понимал тогдашнюю маску молодого Маяковского!

И тогда авторские пародии блестящего мастера Игоря Северянина перестанут раздражать или вызывать недоумение («да как только можно такое писать?!»), наоборот: читая, начинаешь восхищаться безусловным мастерством поэта, его разящей иронией, его неуловимым сарказмом.

В самом-то деле, никакой интеллигентный человек не смог бы воспринять такое — даже в те взвихренные годы — серьезно:

...За чем же дело стало? — к буфету, черный кучер!

Гарсон, съимпровизируй блестящий

файв-о-клок...

А это? —

Моя дежурная адъютантесса,—
Принцесса Юния де-Виантро,—
Вмолнилась в комнату
 быстрее экспресса,
И доложила мне, смеясь остро...

Признаюсь честно: мне иногда зримо чудится, как автор, перечитывающий эти строчки наедине с собой, весело хохочет:

Мне даже некогда пригубить жало
И взор сиреневый плеснуть в лазорь:
Бегу — мороженое из фиалок
Вам выльдить к празднику
 Лимонных Зорь...

А потом, тщательно поправив перед зеркалом свой набриолиненный пробор, едет на вечерний «поэзо-концерт», и там, внешне серьезно, без малейшей улыбки (как позднее — Зошенко свои рассказы) читает продолжение:

Но — ах! — мне некогда к вам на колени,
«Кальвиль раздория» среди принцесс;
Варить приходится ликер сирени
Для неисчерпываемых поэз...

...А сам про себя думает: «Ну, как вам эта кухонно-принцессная белиберда? Глотаете? Эх вы, дурачье! Этого вам нужно? Нател! Подавитесь!»

Действительно — в пародиях он неисчерпаем, и изобретателен, и... поэтичен!

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка —
 Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж...

Всё здесь есть — и несомненная музыкальность, и аллитерация, — все в нем и есть признаки подлинной поэзии. А на деле — мастерская дразнилка...

Потому что настоящее, умное лицо нет-нет да вдруг и выглянет из-за краешка эстрадной маски, быстро покажет язык — и снова скроется:

Не виновата в том крестьянская
Многострадальная среда,
Что в вас сочится кровь дворянская,
Как перегнившая вода...

Как можно серьезно отнестись к такому:

Элегантная коляска, в электрическом биенье,
Эластично шелестела по шоссе по песку...

Ведь — почти одновременно! — пишутся такие строки:

Порой бранят меня площадно,
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом!

Я одинок в своей задаче,
И оттого, что одинок,
Я дряблый мир готовлю к сдаче,
Плетя на гроб себе венок!

А вот это — серьезно. И над серьезностью этой стоит задуматься! Вот он начинает зазывать:

Я в комфортабельной карете, на эллипсических
 рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая
в женоклуб...

Ну, все здесь пародийно, все искусственно сконструировано — даже эти очень смешные словообразования «златополдень» и «женоклуб»! Но, как говорится, опять не выдерживает душа поэта! Снова у него прорывается подлинность оценок:

...Где вкусно сплетничают дамы о светских
 дрязгах и о ссорах,
Где глупый вправе слыть не глупым, но
 умный
 не непременно глуп!
 (Разрядка моя. — Л. К.)

Автор может себе позволить и более открытое издевательство:

Ваше Сиятельство к тридцатилетнему —
 модному — возрасту

Тело имеете универсальное... как барельеф...
 Душу душистую, тщательно скрытую
 в шелковом шелесте,
 Очень удобную для проституток и королев...

Следовало бы обратить внимание читателя и на такие строки:

Ах, поглядите-ка! ах, посмотрите-ка!
 Какая глупая в России критика...

 В сатире жалящей искала лирики,
 Своей бездарности спев панегирики,
 И не расслышала (иль то —
 п о л и т и к а ?)
 Моей иронии глухая критика...
 (Разрядка — авторская! — Л. К.)

Да, северянинской иронии тогдашняя критика явно не расслышала...

Кое-кто, надо сказать, догадывался о том, что в противоречивых оценках И. Северянина не все просто.

Ближе всего, на мой взгляд, к пониманию второй ипостаси поэта подошел Вс. Рождественский. В своей вступительной статье к одному из томов Северянина в Малой серии «Библиотеки поэта» (1975) он осторожно писал: «В творчестве Игоря Северянина можно найти еще одну, правда, не столь ярко выраженную тенденцию. Ее отмечает и сам автор: «Я — лирик, но я — и ироник». Можно считать ироническими такие стихи, как «Каретка куртизанки», «В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли...», «Клуб дам» и др. Однако ирония поэта не поднимается до высоты социального обличения...»

Но дальше этого понимания старый мастер не пошел: видимо, и на нем сказались сложившееся общественное мнение, этакая абберация свободного зрения: «Слава этого несомненного лирика действительно оказалась двусмысленной: сквозь самоупоение, лишенное вкуса и такта, самоутверждение и позу «гениального» обновителя поэтического языка порою проглядывало истинное лицо человека, способного остро переживать личную боль, тяготящегося надетой на себя маской...»

Что касается «самоутверждения» поэта, мы говорили об этом выше. Что же касается

маски, то сам Северянин дает нам недвусмысленную возможность заглянуть за нее. Его стихотворение «В блестящей тьме» необходимо привести целиком:

В смокингах,
 опробованные великосветские олухи
 В княжьей гостинной наструились,
 лица свои оглупив.
 Я улынулся натянуто,
 вспомнил сарказмно о пороке:
 Скуку взорвал неожиданно
 нео-поэзный мотив.

Каждая строчка — пощечина. Голос мой —
 сплошь издевательство.
 Рифмы слагаются в кукиши.

Кажет язык ассонанс.
 Я презираю вас пламенно,
 тусклые Ваши Сиятельства,
 И, презирая, рассчитываю
 на мировой резонанс!

Блесткая аудитория,
 блеском ты зло отуманена!
 Скрыт от тебя, недостойная,
 будущего горизонт!
 Тусклые Ваши Сиятельства!

Во времена Северянина
 Следует знать, что за Пушкиным
 были и Блок, и Бальмонт!

Так вот же оно, искомое! Самое сокровенное, искреннее, обнаженное — открыто выплеснулось, не утерпелось! Влепил, наконец, пощечину своим слушателям — а те в пылу восторгов даже и не заметили, что над ними откровенно издеваются!

А с каким мастерством написано! Вы вдумайтесь, вслушайтесь в этот блестящий каламбур:

«Я презираю вас пламенно, тусклые
 Ваши Сиятельства!»

И ведь что весьма характерно — в те самые годы писано, между «Мороженым из сирени» и «Ананасами в шампанском», — в 1913 году!

Это совсем не то, чтобы потом, в тиши, подводя итоги своим бурным молодым летам (или, скажем, — признавая заблуждения и

ошибки прошлого...), написал это задним числом старящийся, мудрый поэт...

Трагедия-то Северянина в том, между прочим, и состояла, что этого — почти непристойно издевательского — признания в те времена не заметили, думали — шутит, дразнит специально. Любимцу все просталось!

Признать это правдой кому-то было явно невыгодно...

И маска слишком прочно приросла к живому лицу!

Способность к юмору, к самоиронии — неременный спутник умного человека. Дуракам, как известно, юмор не свойствен. А ирония, обращенная на себя самого, — свойство мужественного человека.

В стихотворении «Эпилог» у него появляются такие строки:

Схожу насмешливо с престола...

Обратите внимание: опять это — «насмешливо»!

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат...

Простые, искренние строки!

В ноябре 1917 года (заметьте дату!) в «Поэзе последней надежды» Игорь Северянин сказал:

...верю в вас,

Глаза крылатой русской молодежи!

После 1918 года, оказавшись не столько в добровольной эмиграции, сколько в невольной изоляции от русского читателя, Игорь Северянин в течение двух десятков лет писал стихи — разного качества, но среди них нет ни одного антисоветского, ни единого антинародного!

Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой:
Не предавал тебя ни мыслью, ни душой...

Сам он мог смело и скорбно написать о себе, о своем творчестве, обыграв знаменитые строки Ивана Мятлева:

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Эти строки и выбиты на его могильной плите на русском кладбище в Таллине.

Давайте же постоим над могилой русского поэта Игоря Северянина, чья яркая, шокирующая, почти мгновенная слава метеорной вспышкой осветила начало XX века. Постоим. Помолчим.

И еще раз задумаемся над его противоречивой судьбой, в которой сплелись «двусмысленная слава и недвусмысленный талант»...



Из литературных групп двадцатых годов ОБЭРИУ привлекает сегодня наибольшее внимание. В чем причина? Возможно, это интерес к малоизвестному: группу «открыли» сравнительно недавно. Или же причина в непривычных стихах? В драматичной судьбе поэтов?

ОБЭРИУ — сокращенное название Объединения реального искусства. Аббревиатура появилась в 1928 году на страницах ленинградского информационного выпуска «Афиши Дома печати». Во втором номере «Афиш» и была опубликована декларация обэриутов.

Если первые три слога сокращения легко расшифровываются, то последнее У вызывает догадки. Что скрывается за ним? Скорее всего, это часть сокращенного «не по правилу» слова — «искусство» — ИУ. Но очень может быть, что последнее У в аббревиатуре поставлено просто так, ради шутки, по принципу детской присказки: потому, что кончается на У. Известно, что обэриуты не упускали случая почудить. Они любили эксцентрику, непосредственную, детскую.

Что же хотели объединить молодые ленинградские поэты Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, И. Бахтерев, кроме самих себя? Идея творческого объединения появилась у них не случайно. Во второй половине двадцатых годов в культурной жизни Ленинграда громко заявило о себе младшее поколение футуристического движения. Правда, к этому времени слово «футуризм» почти не произносилось. Оно казалось устаревшим. Футуризм эволюционировал, приобретая новые названия, вплоть до «сюрреализма».

В Доме печати (Фонтанка, 21), где сейчас размещается Дом дружбы и мира с народами зарубежных стран, выступал экспериментальный театр Игоря Терентьева. Совсем недавно режиссер входил в группу поэтов-заумников «41», теперь его спектакли «левее Мейерхольда» приводили в смятение умеренную критику. В залах Дома печати выставили «аналитическую живопись» ученики П. Н. Филонова. В Институте художественной культуры успешно работали ученики другого радикального деятеля русского авангарда К. С. Малевича.

Эти «левые» силы и задумали сплотить молодые ленинградские поэты, в 1926—1928 гг. называвшие себя «чинарями». В своей декларации они писали: «ОБЭРИУ делится на 4 секции: литературную, изобразительную, театральную и кино. Изобразительная секция ведет работу экспериментальным путем, остальные секции демонстрируются на вечерах, постановках и в печати». И далее: «ОБЭРИУ ныне выступает, как новый отряд левого революционного искусства. ОБЭРИУ не скользит по темам и вершушкам творчества, — оно ищет органически нового мироощущения и подхода к вещам. ОБЭРИУ вгрызается в сердцевину слова, драматического действия и кинокадра».

Задуманного объединения не получилось. И по существу ОБЭРИУ оказалось литературным объединением. Или точнее, литературно-театральным.

Кто же входил в ОБЭРИУ? В декларации сказано, что литературную секцию представляют: А. Введенский — «крайняя левая нашего объединения», К. Вагинов — «чья фантазмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман», И. Бахтерев — «поэт, осознающий свое лицо в лирической окраске своего предметного материала», Н. Заболоцкий — «поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя», Д. Хармс — «поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов», Б. Левин — «прозаик, работающий экспериментальным путем».

К этому списку прибавим Н. Олейникова. Формально он не входил в ОБЭРИУ, но внутренне был ближе к этой группе, чем К. Вагинов, который скоро из нее вышел. Не случайно Н. Заболоцкий сделал Олейникова героем поэмы «Лодейников». К ближайшим спутникам обэриутов отнесем и Евгения Шварца. Вообще друзей и единомышленников у ОБЭРИУ было немало, хотя публичные выступления объединения прекратились в начале тридцатых годов. Среди них — ученики Филонова: П. Кондратьев, А. Порет, Т. Глебова; пианистка М. Юдина, ученики Малевича: В. Ермолаева, В. Стерлигов; писатель Б. Житков, философ Я. Друскин.

о всемогуществе насилия и смерти. Каждый по-своему. Обэриуты не повторяли друг друга. Более того, они вступали в спор — прежде всего это относится к левому и правому краям ОБЭРИУ, Введенскому и Заболоцкому.

Мир должен быть иным. Мир должен быть
круглей,
Величественней, чище, справедливей,
Мир должен быть разумней и счастливей,
Чем раньше был и чем он есть сейчас,—

писал Заболоцкий. Введенский словно бы в ответ подбирал к слову «мир» банальную рифму — «пир». И разворачивал веером частушечную картину конца мира. Если и были разумные дела, то теперь они кончились. «Бог ложится почивать». Наступает праздник неслепостей — какой уж тут «справедливый мир».

Искусство для «естественных мыслителей» — не зеркало, не описание видимого. Оно — «сабля», как говорил Хармс. Врезается в сердцевину слова и предмета. Задача «мыслителя» — отделить иллюзию, обманчивую видимость от подлинных причин и ценностей. Орудием обзрютов была особая логика искусства. Особая — они подчеркивали это: «Может быть, вы будете утверждать», — сказано в декларации, — что наши сюжеты «нереальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героини и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать».

Этой логике подчинен обзирутский мир, мало похожий на то, что вокруг нас. В нем ведут дискуссии животные, растения, люди и предметы. Изменен привычный механизм причинности. Этот мир, напоминающий интересный сон, который расковывает воображение и вселяет тревогу, ближе к мифу, сказке, иносказательной притче, чем к бытовому роману или психологической лирике.

Самым распространенным видом «нежитейской» логики обэриутов был алогизм. Отрицание привычного на всех уровнях, вплоть до грамматики. Вот стихотворение Хармса «Полет в небеса». Здесь образ из детской игры — мальчик верхом на метелке — переключается

с темой античных мифов о полете в небо. Этот комичный полет сопровождает хор — не то зевак, не то судей. Романтический порыв к небу мальчика Васи заканчивается тем, что он застревает в небесных сферах. Неожиданный насмешливый финал, указывающий на существование третьего мира — между небом и землей.

Алогизм обэриутов заключал в себе разные виды смешного. Поэты опирались на богатую фольклорную традицию, творчески используя частушки, прибаутки, комические персонажи из народных сказок, балаганные сюжеты. И конечно их творчество продолжало литературную традицию, прежде всего следует назвать здесь петербургские гротески Гоголя.

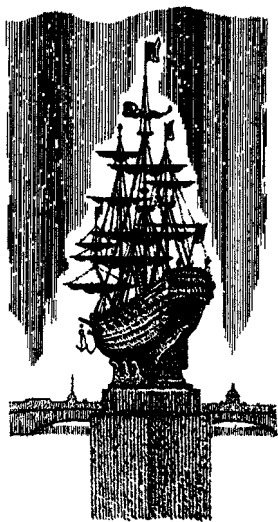
Иногда сближают творчество обэриутов с сочинениями капитана Лебядкина — персонажа из романа Достоевского «Бесы». Трудно сказать, чего больше в таком сопоставлении — незнания или эстетической глухоты. Капитан Лебядкин — это прежде всего циник, полупьяный комедиант, неспособный к творчеству. Обэриутов можно упрекнуть в увлечении импровизацией, в том, что их раскованная фантазия не всегда подчинена воле художника. Но

чего не найти у обэриутов, так это цинизма. Искать у них лебядкинский дух — значит не замечать (или намеренно замалчивать) трагичность их мироощущения, часто прикрываемую балаганом. Сошлемся на «Элегию» Введенского.

Путь поэтов был не легок. При жизни Хармс и Введенский так и не смогли опубликовать свои стихи и пьесы. Известность они имели лишь как детские писатели. В начале тридцатых годов жестокому критическому разному подверглось творчество Заболоцкого. Под огонь критики попал и Олейников. Формально деятельность ОБЭРИУ прекратилась в начале 1930 года, но до середины тридцатых годов продолжал существовать кружок поэтов-единомышленников. К этому времени поэты стали зрелыми мастерами. Каждый из них осознал свой отдельный путь в литературе. Но этот путь не означал отказа от прошлого.

Все публикуемые ниже произведения печатаются по рукописи, за исключением стихотворения К. Вагинова, опубликованного в сборнике Союза поэтов «Костер», 1927 г.

Анатолий Александров



Я стал просвечивающей формой,
свисающей ветвью винограда,
но нету птиц, клюющих ранним утром
мои качающиеся плоды.
Я вижу длительные дороги,
подпрыгивающие тропинки,
разнохарактерные толпы
разносящих людей.
И выплывает в ночь Тептёлкин¹,
в моем пространстве безызымном
он держит Феникса сиянье

в чуть облысевшей голове.
А на Москве-реке далекой
стоит расейский Кремль высокий,
в нем голубь спит
в воротничке,
я сам сижу
на облучке,
поп впереди — за мною гроб,
в нем тот же я — совсем другой,
со мной подруга, дикий сад,
луна над желтизной оград.

ИГОРЬ БАХТЕРЕВ

ЗНАКОМЫЙ ХУДОЖНИК

Петру Соколову

Висит на шесте и крутится
мазков бесцельное собрание,
безмолвное содружество частей
на плоскости утраченной квадрата.
В несмелой охре распластав ладони,
садовник пятился давно.
Он поднимал гвоздику
и снова достигал настурцию.
Уменьем толстых пальцев
его создал сундук,
просторный, как ведро.
Надо мной гуляет женщина
прозрачней, чем из древней Турции,
обширнее небесной суеты.
Она сказала тихо:
— Меня создал петух.—
Передо мной сидит бревенчатый Малевич
с вытянутыми руками,
весь обструганный.
Его холсты шуршавые,
его слова мужицкие
напоминают запах.
Вы смотрите у меня:
Юдин, Эндер и Стерлигов,

грызите подрамники вежливо
от первого до 318-го
Они вас незатейливых
всему научат.
Грызите да приговаривайте:
от и дж
от и дв
от и дрь
Ах, уж эти времена
с такими большими честными — дй.
Поменьше — дж.
Еще меньше — дв.
Совсем крошечными и уморительными —
дрь и дзя.
Теперь со мной рядом
велосипедисты на кривых колесах,
рыбак с черной рыбой за спиной...
И опять передо мной садовник,
Он жует календарь науки,
плюется некрасивыми буквами,
ругается историческим голосом
и говорит:
Дерсенваль кр кф.
Вот какой у меня знакомый художник.

¹ Персонаж из романа К. Вагинова «Козлиная песнь».

М И Р

ДЕМОН

Няню демон спросил:
Няня, сколько в мире сил?
Отвечала няня: Две.
Обе силы в голове.

НЯНЯ

Человек сидит на ветке
и воркует как сова,
а верблюд стоит в беседке,
и волнуется трава.

ЧЕЛОВЕК

Человек сказал верблюду:
Ты напомнил мне иуду.

ВЕРБЛЮД

Отчего? — спросил верблюд, —
Я не ем тяжелых блюд.

ДУРАК-ЛОГИК

Но, верблюд, — сказал дурак, —
ведь не в этом сходство тел.
В речке тихо плавал рак,
от воды он пропотел.
Но, однако, потный рак
не похож на плотный фрак,
пропотевший после бала.

СМЕРТЬ

Смерть меня поколебала,
я на землю упаду,
под землей гулять пойду.

УБИЙЦЫ

Появились кровопийцы
под названием убийцы.
(неразб.) нож и пистолет,
жили двести — триста лет.
И построили фонтан,
и шкатулку, и шантан,
во шантане веселились,
во фонтане дети мылись.

НЯНЬКИ

Няньки бегали с ведрком
по окружности земной.
Все казалось им тетеркой.

ОН

Звери лазали за мной.
Он казался им герой,
а приснился им горой.

ЗВЕРИ ПЛАЧА

Звери плача: ты висел.
Все проходит без следа.
Молча ели мы кисель,
лежа на кувшине льда.

РОГАТЫЕ БАРАНЫ

Мы во льду видали страны,
мы рогатые бараны.

ДЕМОН

Бросьте, звери, дребедень,
настает последний день.

Новый кончился шиньон,
мир ложится утомлен,
мир ложится почивать.
Бог собрался ночевать,
он кончает все дела.

ЛЯГУШКА

Я лягушку родила.
Она взлетела со стола
как соловей и пастила.
Теперь живет в кольце Сатурна
бесшабашно, вольно, бурно.
Существует, квакает,
так что кольца крикают.

ВИСЯЩИЕ ЛЮДИ

Боже, мы развешаны,
Боже, мы помешаны.
Мы на дереве висим,
в дудку голоса свистим,
шашкой машем вправо-влево
как сундук и королева.

НЯНЯКА

Сила первая светло,
и за ней идет тепло,
и за ней идет движение
и животных размноженье.

ТАПИР

Как жуир спешит тапир —
на земле последний пир.

МЕТЕОР

И сверкает как костер
в пылком небе метеор.

ЭПИЛОГ

На обоях человек,
а на блюдечке четверг.

НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

Чарльз Дарвин, известный ученый,
Однажды синичку поймал.
Ее красотой увлеченный,
Он зорко за ней наблюдал.

Он видел головку змеиную
И рыбий раздвоенный хвост,
В движениях — что-то
мышинное

И в лапах — подобие звезд.
«Однако,— подумал Чарльз Дарвин,—
Однако, синичка сложна.

С ней рядом я просто бездарен.
Пичужка, а как сложена!

Зачем же меня обделила
Природа своим пирогом?
Зачем безобразные щеки всучила,
И пошлые пятки, и грудь колесом?»

...Тут горько заплакал старик
омраченный.

Он даже стреляться хотел!
Был Дарвин известный ученый,
Но он красоты не имел.



ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОФОРМЛЕНИЕ
НОВЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ КНИГ
1988 ГОДА

*



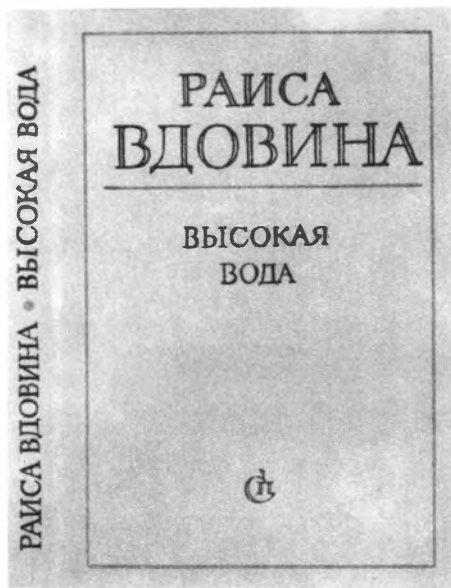
Обложка. Художник В. Мартусевич.



Обложка. Художник Б. Комаров.



Обложка. Художник М. Новиков.



Переплет. Художник Б. Комаров.



Переплет. Художник В. Коломейцев



Переплет. Художник В. Мишин.



Переплет. Художник Л. Яценко

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД АГЕЕВ 61	СЕРГЕЙ ВОЛЬСКИЙ 362
ВСЕВОЛОД АЗАРОВ 141, 156	СЕРГЕЙ ВОЛЬФ 15
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ 229	МАРИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ 151
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ 63	ЛЕВ ГАВРИЛОВ 72
ЮРИЙ АНДРЕЕВ 10	НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА 37
АННА АХМАТОВА 206	ТАТЬЯНА ГАЛУШКО 74
НАТАЛЬЯ БАНК 71	ГЕОРГИЙ ГЛЕКИН 213
ВАДИМ БАРАШКОВ 12	ГРИГОРИЙ ГЛОЗМАН 77
ЛЮДМИЛА БАРБАС 66	МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ 78
ПОЛИНА БАРСКОВА 3	ГЕРМАН ГОППЕ 152
ИГОРЬ БАХТЕРЕВ 232	ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ 79
АЛЕКСЕЙ БЕКЛОВ 13	ЯКОВ ГОРДИН 82
НАСТЯ БЕЛЬТЮГОВА 3	ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ 83
МАЙЯ БОРИСОВА 67	НАТАЛЬЯ ГРУДИНИНА 154
СЕМЕН БОТВИННИК 143, 145	ВЛАДИМИР ГУД 16
ПАВЕЛ БУЛУШЕВ 147	СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ 157, 195
ВЕРА БУРДИНА 14	АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ 8
КОНСТАНТИН ВАГИНОВ 232	ВЛАДИМИР ДРОЗДОВ 85
РАИСА ВДОВИНА 68	ВАЛЕНТИНА ДРОЗДОВСКАЯ 88
АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ 233	ЭЛИДА ДУБРОВИНА 160
АСЯ ВЕКСЛЕР 69	МИХАИЛ ДУДИН 162
ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ 8	АСЯ ЕСЬКОВА 1
СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ 35	АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ 89
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА 148	ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН 39
АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН 150	ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ 40

ИГОРЬ ИНОВ 65, 90	ВИКТОР МАКСИМОВ 105
ПОЭЛЬ КАРП 164	НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ 107
НАТАЛЬЯ КАРПОВА 91	ИРИНА МАЛЯРОВА 108
СЕРГЕЙ КАШИРИН 92	ИГОРЬ МИХАЙЛОВ 173
ЕВГЕНИЙ КЛЯЧКИН 10	АЛЕКСАНДР МОРЕВ 109
ПЕТР КОБРАКОВ 165	ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ 112
СЕРГЕЙ КОБЫСОВ 166	ЛЕВ МОЧАЛОВ 176
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ 12	САША МЯКИНЕНКОВ 4
МАРИЯ КОМИССАРОВА 166	ГЕОРГИЙ НЕКРАСОВ 180
АНАТОЛИЙ КРАСНОВ 93	ЛЕОНИД НЕСТЕРОВ 20
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ 95	ТАМАРА НИКИТИНА 113
ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ 168	ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ 114
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ 98, 181	НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА 46
ЮРИЙ КУКИН 11	ГАЛИНА НОВИЦКАЯ 115
ЛЕВ КУКЛИН 100, 222	ИРИНА ОДОВЕЦЕВА 22
НИКОЛАЙ КУТОВ 169	ИГОРЬ ОЗИМОВ 115
ЕВГЕНИЙ КУЧИНСКИЙ 18	НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ 233
АЛЕКСАНДР КУШНЕР 101	БОРИС ОРЛОВ 48
ВЛАДИМИР ЛАВРОВ 168	ОЛЕГ ОСИПОВ 24
ВЛАДИМИР ЛАХНО 103	НИНА ОСТРОВСКАЯ 183
ОЛЕГ ЛЕВИТАН 44	ЭМИЛЬДА ПАНКУЛЬ 116
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН 19	СЕРГЕЙ ПЕТРОВ 25
ЮРИЙ ЛОГИНОВ 170	АНАТОЛИЙ ПИКАЧ 38
ЮРИЙ ЛЮБА 148	СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ 1
АНДРЕЙ ЛЯДОВ 171	НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА 185
СЕРГЕЙ МАКАРОВ 104	ВАЛЕРИЙ ПОПОВ 26

АДРИАН ПРОТОПОПОВ
28

ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ
117

ВИКТОРИЯ РАБОТНОВА
29

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР
118

СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД
49

АНДРЕЙ РОМАНОВ
51

МИХАИЛ РОМАНУШКО
30

ОЛЯ САВУКОВА
5

ГЛЕБ СЕМЕНОВ
188

ИРЭНА СЕРГЕЕВА
120

ВЕРОНИКА СИМОНОВА
5

ЮРИЙ СКОРОДУМОВ
120

НОННА СЛЕПАКОВА
121, 158

ВАСИЛИЙ СОКОЛОВ
192

АНАТОЛИЙ СОРОКИН
123

ВИКТОР СОСНОРА
124

ВОЛЬТ СУСЛОВ
96, 192

ЗИНАИДА ТАКШЕЕВА
126

ОЛЕГ ТАРУТИН
126

ВИКА ТИМОШКИНА
6

ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА
52

ВЛАДИМИР ТОРОПЫГИН
194

ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ
128

ГАЛИНА УСОВА
129

ЛЮДМИЛА ФАДЕЕВА
130

СОЛОМОН ФОГЕЛЬСОН
198

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
131, 179

РИЗА ХАЛИД
196

ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ
132

ВАДИМ ХРИЛЕВ
134

ОЛЕГ ЦАКУНОВ
134

ГЕРМАН ЦВЕТКОВ
54

АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ
198

ЕВГЕНИЙ ШВЕДОВ
31

АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ
136

ЮРИЙ ШЕСТАКОВ
55

ВАДИМ ШЕФНЕР
200

ВИКТОР ШИРАЛИ
56

ВЛАДИСЛАВ ШОШИН
137

ВАЛЕРИЙ ШУМИЛИН
137

ЕЛЕНА ЭФРОС
32

ОЛЕГ ЮРКОВ
138

НОРА ЯВОРСКАЯ
174, 203

МИХАИЛ ЯСНОВ
57

День поэзии 1988: Сборник.— Л.: Сов. писатель,
Д 34 1988.— 240 с.
ISBN 5—265—00480—7

По традиции в очередной выпуск сборника «День поэзии» вошли стихотворения ленинградских поэтов разных поколений. Читатель познакомится с произведениями старейших мастеров стиха и поэтической молодежи, только начинающей свой творческий путь.

В составе сборника — публикации, воспоминания, статьи о поэзии.

Д $\frac{4702010206-314}{083(02)-88}$ 183—88

ББК 84.Р7

День поэзии 1988

Худож. редактор *Б. А. Комаров*
Техн. редакторы *Л. П. Полякова, Е. Б. Спрукт*
Корректор *Э. Н. Липпа*
ИБ № 6372

Сдано в набор 27.04.88. Подписано к печати 31.10.88. М 24204. Формат 70 × 100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 19,50. Уч.-изд. л. 15,27. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1552. Цена 1 р. 60 к

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛЕОНИД АГЕЕВ
(главный редактор)

МАИЯ БОРИСОВА

СЕМЕН БОТВИННИК

АСЯ ВЕКСЛЕР

ТАТЬЯНА ГАЛУШКО

АНАТОЛИЙ КРАСНОВ

ВИКТОР МАКСИМОВ

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ

ВАДИМ ШЕФНЕР

Новое в ленинградской поэзии.
 В преддверии столетия со дня
 рождения А. А. Ах-
 матовой: „Реквием“;
 „Из записок о встречах
 с Анной Ахматовой“.
 Строки из школьных те-
 традок. Поэты о поэтах.
 Из архивов. Слово о бардах.
 Разговор о поэтических по-
 колениях. Стихи прозаи-
 ков, литературоведов,
 переводчиков...